

А. Ф.  
ПИСЕМСКИЙ

*Избранное*



# Алексей Феофилактович Писемский

## Тюфяк

«Однажды – это было в конце августа – Перепетуя Петровна уже очень давно наслаждалась послеобеденным сном. В спальне было темно, как в закупоренной бочке. Средство это употреблялось ради спасения от мух, необыкновенно злых в этом месяце. Часу в шестом Перепетуя Петровна проснулась и пробыла несколько минут в том состоянии, когда человек не знает еще хорошенько, проснулся он или нет, а потом старалась припомнить, день был это или ночь; одним словом, она заспалась, что, как известно, часто случается с здоровыми людьми, легшими после сытного обеда успокоить свое бременное тело...»

# Содержание

I Родственница . . . . .	0005
II Брат, сестра и тетка . . . . .	0023
III Михайло Николаич Масуров . . . . .	0038
IV Павел . . . . .	0052
V Неожиданная встреча . . . . .	0073
VI Поездка в собрание и ее последствия . . . . .	0085
VII Всякая всячина . . . . .	0113
VIII Сватовство . . . . .	0129
IX Помолвка с предыдущими и последующими ей сценами . . . . .	0154
X Опять всякая всячина . . . . .	0176
XI Свадьба . . . . .	0201
XII Домашние сцены . . . . .	0225
XIII Всякая всячина . . . . .	0253
XIV Соперницы . . . . .	0269
XV Павел все узнал . . . . .	0296
XVI Бахтиаров . . . . .	0322
XVII Деревня . . . . .	0332
XVIII Соседка . . . . .	0351
XIX Отъезд . . . . .	0361
XX Опять родственница . . . . .	0376
Примечания . . . . .	0384

**Алексей Феофилактович  
Писемский  
Тюфяк  
Повесть**

*Семейные дела судить очень трудно, и  
даже невозможно!  
Местная поговорка*

# I

## Родственница

Однажды – это было в конце августа – Перепетуя Петровна уже очень давно наслаждалась послеобеденным сном. В спальне было темно, как в закупоренной бочке. Средство это употреблялось ради спасения от мух, необыкновенно злых в этом месяце. Часу в шестом Перепетуя Петровна проснулась и пробыла несколько минут в том состоянии, когда человек не знает еще хорошенько, проснулся он или нет, а потом старалась припомнить, день был это или ночь; одним словом, она заспалась, что, как известно, часто случается с здоровыми людьми, легшими после сытного обеда успокоить свое бременное тело. Это полусознательное состояние Перепетуи Петровны было прервано приходом горничной девки со свечою.

– Палашка! Это ты? – сказала барыня, жмуря глаза, которым, видно, было неприятно ощущение света.

– Я, матушка.

– Что тебе?

– Феоктиста Саввишна приехали.

– Что же ты, дура, давно мне не скажешь, – проговорила Перепетуя Петровна, вставая проворно с постели, насколько может проворно встать женщина лет около пятидесяти и пудов шести веса, а потом, надев перед зеркалом траурный тюлевый чепец, с печальным лицом, медленным шагом вышла в гостиную. Гостья и хозяйка молча поцеловались и уселись на диване.

– Я, в моем горестном положении, – сказала печальным тоном Перепетуя Петровна, – сижу больше там, у себя, даже с закрытыми окнами: как-то при свете-то еще грустнее.

– Что мудреного, что мудреного! – повторяла гостья тоже плачевным голосом, покачивая головою. – Впрочем, я вам откровенно скажу, бога ради, не убивайте вы себя так... Конечно, несчастье велико: в одно время, что называется, умер зять и с сестрою паралич; но, Перепетуя Петровна, нужна покорность... Что делать! Ведь уж не поможешь. Я, признаться сказать, таки нарочно приехала проведать, как и вас-то бог милует; полноте... бе-

регите свое-то здоровье – не молоденькие, ма-тушка.

Перепетуя Петровна ничего не отвечала на эти утешительные слова; но с половины монолога начала рыдать, закрыв лицо носовым платком. Этот обычный прием плачущих был весьма кстати для Перепетуи Петровны, потому что выражение лица ее в эту горькую минуту очень было некрасиво; слезы как-то не шли к ее полной, отчасти грубоватой и лишенной всякого выражения физиономии. Феоктиста Саввишна, тождественная своею наружностью и весом тела Перепетуге Петровне, смотрела на нее несколько минут с участием, а потом и сама принялась плакать.

– Я видеть ее не могу, мою голубушку, – проговорила, наконец, Перепетуя Петровна, всхлипывая, – представить ее даже не могу.

– Это-то и дурно, Перепетуя Петровна, – перебила утешительница, – ну, зять, конечно, уж не воротись, человек мертвый; а сестрица, вот вам как бог свят, выздоровеет. У меня покойник два раза был в параличе, все лицо было сворочено на сторону, да прошло; это ведь проходит.

– Нет, матушка! – говорила Перепетуя Петровна. – Я уже советовалась о ней с Карлом Иванычем – с ней не пройдет. Ох, господи! Грудь даже начала болеть; никогда прежде этого не бывало; он говорит, у ней началось с помешательства, с гипохондрии.

– Что ж такое гипохондрия! Ничего! – возразила Феоктиста Саввишна. – Да вот недалеко пример – Басунов, Саши, племянницы моей, муж, целый год был в гипохондрии, однако прошла; теперь здоров совершенно. Что же после открылось? Его беспокоило, что имение было в залоге; жена глядела, глядела, видит, делать нечего, заложила свою деревню, а его-то выкупила, и прошло.

– Как странно, однако, это случилось! – начала Перепетуя Петровна. – Она сначала, как умер Василий Петрович... ничего... Конечно, грустила, только слез как-то не было: не плакала... Ну, без сомнения, я каждый день то сама, то посылаю; не поверите, все ночи не сплю, не знаю, как и самое-то бог подкрепляет; вот, сударыня моя, накануне троицына дня приходит ее Марфутка-ключница и говорит мне: «Что это, говорит, матушка, у нас ба-

рыня-то все задумывается?» А я и говорю: «Как же, я говорю, не задумываться; это по-вашему ничего, кто бы ни умер, мать ли, муж ли – все равно». А она мне на это и говорит (она, даром что простая, умная этакая, сметливая, славная женщина): «Нет, говорит, матушка, барыня-то что-то очень сумнительна: все нас изволит высылать вон и все перебирает письма Василья Петровича да Павла Васильича, а вчера как будто бы и заговариваться стала: говорит, а что – и понять невозможно». Я так и не опомнилась! Ох, боже мой! Рассказывать даже тяжело. Как сидела вот на этом диване, так руки и ноги охолодели; ничего не помню!.. В беспамятстве меня одели, снарядили, привезли к ней, и вижу: паралич во всей; кажется, и меня даже не узнала.

Перепетуя Петровна замолчала и вздохнула; Феоктиста Саввишна тоже сидела задумавшись.

– Да, вот, можно сказать, истинное-то несчастье, – начала последняя, – непритворное-то чувство! Видно, что было тяжело перенести эту потерю; я знаю это по себе. Ах, как это тяжело! Вот уж, можно сказать, что поте-

ря мужа ни с чем не может сравниться! Кто ближе его? Никто! Друг, что называется, на всю жизнь человеческую. Где дети-то Анны Петровны?

– Лиза писала, что приедет и с мужем сюда совсем на житье; а Паша уж месяца с три как приехал из Москвы; он, слава богу, все ихные там экзамены кончил хорошо; в наверситете ведь он был.

– Это я слышала. Что-то он, бедненький? Его-то положение ужасно: он был, как говорится, маменькин сынок.

Перепетуя Петровна вздохнула.

– Что он? Ничего... мужчина! У них, знаете, как-то чувств-то этаких нет... А уж он и особенно, всегда был такой неласковый. Ну, вот хоть ко мне: я ему, недалеко считать, родная тетка; ведь никогда, сударыня моя, не придет; чтобы этак приласкался, поговорил бы, посоветовался, рассказал бы что-нибудь – никогда! Придет, сидит да ногой болтает, согрешила грешная. Я с вами, Феоктиста Саввишна, говорю откровенно...

– Эй, полноте, Перепетуя Петровна, – перебила Феоктиста Саввишна, – вы, я думаю, зна-

ете: я не болтушка какая-нибудь; слава богу, десятый год живу здесь, а никогда, можно сказать, ни в одной скандалезности не была замешана.

– Потому-то я с вами и говорю. Грустно так на сердце-то носить, особенно семейные неприятности, – продолжала Перепетуя Петровна. – Ох, боже мой! Опять забыла, о чем начала?..

– О Павле Васильиче.

– Да, о Паше. Конечно, я хоть и родная тетка, а всегда скажу: он не картежник, не мот какой-нибудь, не пьяница – этого ничего нет; да ученья-то в нем как-то не видно, а уж его ли, кажется, не учили? Шесть лет в гимназии сидел да в Москве лет пять был; ну вот хоть и теперь, беспрестанно все читает, да только толку-то не видать: ни этакого, знаете, обращения, ловкости этакой в обществе, как у других молодых людей, или этаких умных, солидных разговоров – ничего нет! Лениость непомерная, моциону никакого не имеет: целые дни сидит да лежит... тюфяк, совершенный тюфяк! Я еще его маленького прозвала тюфяком.

– Что это за странность? Стало быть, он и в военную службу не пойдет?

– Какой он военный? Сама сестра тут виновата; конечно, уж теперь про нее говорить нечего... человек больной... не внушала ему никогда, надзору настоящего не было: «Паша! Паша!» – и больше ничего; что Паша ни делай, все хорошо. Паша не выходит при гостях в гостиную и сидит там у себя... Прекрасно, батюшка: бегай хорошего общества!.. Отдали танцевать учиться, через месяц пришел: «Я не хочу, маменька, учиться танцевать, я не способен!» Какая тут способность? Всякий молодой человек способен! – И то прекрасно: не учишь, сынок, будь медведем. А опять хоть бы за столом... у меня всегда, бывало, ссора: черного хлеба совершенно не ест, а теперь вот на здоровье жалуется... Ему, бывало, очень не по нутру, как я приеду; я ведь не люблю, беспрестанно замечаю: «Паша, сиди хорошенько, Паша, будь поразвязнее, поди умой руки!», ну и получше, поисправится... как быть дворянский мальчик. Сестра – добрая женщина, а мать была слабая. Говорят, в собственных делах нельзя видеть недостаток; пустое: будь у

меня дети, я бы первая все видела! Вот Лиза совсем не то; как была отдана с малолетства в чужие люди, так и вышла другая! Ее еще четырех лет увезла сестра Василья Петровича, классная дама... ну, а как сюда приехала, манеры-то тоже очень начала терять. Хорошо, что я же нашла жениха, а то, пожалуй, и теперь бы сидела в девках... никто бы и не заметил. Ну, сначала было все хорошо, очень были рады, что выходит замуж, а после на меня же была претензия; Василий Петрович часто говаривал: «Бог с вами, сестрица, спровадили от нас Лизу за тридевять земель, жила бы лучше поближе к нам; зять – человек неизвестный, бог знает как и живет». Что же вышло? Человек прекрасный, каждую почту пишет ко мне преласковые письма: «Почтеннейшая тетушка!» и потом все так умно излагает. Очень, очень неглупый человек.

В продолжение всей этой речи Феоктиста Саввишна качала головой и по временам вздыхала.

– Сколько у вас неприятностей-то было, Перепетуя Петровна, – начала она после непродолжительного молчания, – особенно зная ва-

шу родственную-то любовь... Как ведь это грустно, когда видишь, что делается не так, как бы хотелось.

– Что делать, Феоктиста Саввишна! Вся жизнь моя, можно сказать, прошла в горестях: в молодых годах жила с больным отцом, шесть лет в церкви божией не бывала, ходила за ним, что называется, денно и нощно, никогда не роптала; только, бывало, и удовольствия, что съезжу в ряды да нарядов себе накуплю: наряжаться любила... Говорили после, что я вдвое больше получила против сестры... пустое! Дело уж прошлое: лишней копейки нет на моей совести. А и теперь, для чего я живу? Племянники не родные дети; нынче и на родных-то детей нельзя положиться; и в них иногда нет утешения.

– Именно так, именно... – подтверждала Феоктиста Саввишна.

Разговор еще несколько времени продолжался на ту же тему. Наконец Феоктиста Саввишна начала прощаться. Перепетуя Петровна умоляла ее пробыть вместе с нею вечер; но Феоктиста Саввишна решительно отказалась: она почувствовала непреодолимое желание

передать в одном дружественном для нее доме все, что она узнала от Перепетуи Петровны насчет ее семейных неприятностей. Хозяйка, видя невозможность оставить у себя свою гостью на вечер, решила сама, от нечего делать, исполнить священный долг и навестить свою больную сестру. Таким образом, обе дамы сошли вместе с крыльца и расселись по своим экипажам.

Феоктиста Саввишна... но здесь я должен несколько остановиться и обратить внимание читателя на дружественный для нее дом. Дом этот состоял из отца, матери и двух дочерей и принадлежал к высшему губернскому кругу. Владимир Андреич Кураев был представитель и родоначальник его. Жил он открыто и был человек в обществе видный, резкий немного на язык, любил порезонерствовать и владел даром слова; наружность имел он очень внушительную, солидную и даже несколько строгую. Говорили в городе, что будто бы он был немного деспот в своем семействе, что у него все домашние плясали по его дудке и что его властолюбие прорывалось даже иногда при посторонних, несмотря на

то, что он, видимо, стараясь дать жене вес в обществе, называл ее всегда по имени и отчеству, то есть Марьей Ивановной, относился часто к ней за советами и спрашивал ее мнения, говоря таким образом: «Как вы думаете, Марья Ивановна? – Что вы на это скажете, Марья Ивановна?» Покупая какую-нибудь вещь в лавках, он обыкновенно говорил приказчику: «Принеси, братец, на дом, я посоветуюсь с Марьей Ивановной!» Вещь приносили, и Владимир Андреич оставлял ее за собою в долг. Что касается до Марьи Ивановны, то это было какое-то существо совершенно безличное, и она служила только слабым отражением своего супруга: что бы она вам ни говорила, вы непременно это слышали, за несколько дней, от Владимира Андреича. Были слухи, будто бы Марья Ивановна говорила иногда и от себя, высказывала иногда и личные свои мнения, так, например, жаловалась на Владимира Андреича, говорила, что он решительно ни в чем не дает ей воли, а все потому, что взял ее без состояния, что он человек хитрый и хорош только при людях; на дочерей своих она тоже жаловалась, особенно

на старшую, которая, по ее словам, только и боялась отца. В обществе Марья Ивановна слыла за женщину недалнюю, но добрую и решительно не сплетницу. Две дочери их, Юлия и Надежда, были первые красавицы во всем городе, или по крайней мере так убеждены были их родители. Стоявшие в этом городе армейские офицеры старшую прозвали гордою брюнеткой, а младшую – резвою блондинкой. Брюнетка была похожа на отца и вела себя в обществе скромно и даже несколько гордо; дома же, особенно у себя в комнате, была гораздо говорливее, давала своей горничной беспрестанные нотации за различные опущения по туалету. Блондинка была одинакова как в обществе, так и у себя в комнате, то есть немного скупа и необдуманна; с девушками больше смеялась, никогда не давала им наставлений и очень скоро одевалась на балы. О состоянии Кураевых носились какие-то двусмысленные слухи. По моему мнению, судя по их образу жизни, прямо бы надобно было заключить, что они богаты; но нашлись подозрительные умы, которые будто бы очень хорошо знали, что у Кураевых всего 150

мотанных и промотанных душ, что денег ни гроша и что хотя Владимир Андреич и рассказывал, что он очень часто получает наследства, но живет он, по словам тех же подозрительных умов, не совсем благородными аферами, начиная с займа, где только можно, и кончая обдελыванием разного рода маленьких подрядцев. Вот что говорили подозрительные умы.

Феоктиста Саввишна, несмотря на то, что могла быть отнесена к вышеозначенным подозрительным умам, являлась и теперь явилась в дружественный для нее дом с почтением, похожим даже несколько на подобострастие. Хозяйке и барышням раскланялась она жеманно, свернув несколько голову набок, а Владимиру Андреичу, видно для выражения своего почтения, присела ниже, чем прочим. Усевшись, она тотчас же начала рассказывать, что вчера на обеде у Жустковых Махмурова наговорила за мужа больших дерзостей Подслеповой, что Бахтиаров купил еще лошадь у ее двоюродного брата, что какой-то Августин Августиныч третий месяц страдает насморком и что эта несносная болезнь за-

ставляет его, несмотря на твердый характер, даже плакать. Владимир Андреич сидел, разваливаясь в креслах, и решительно не обращал внимания на рассказы Феоктисты Саввишны; барышни также мало ею занимались: они в это время от нечего делать рассматривали модную картинку и потихоньку растолковывали ее друг другу. «Это, должно быть, тюлевая пелеринка», – говорила одна. «Нет, там sheer, это блондовая», и тому подобное. Слушала Феоктисту Саввишну одна только Марья Ивановна, но и та скоро вышла к себе в комнату.

– Чем это вы, Юлия Владимировна, занимаетесь? – отнеслась Феоктиста Саввишна к девушкам.

– Смотрим, – отвечала брюнетка.

– Что это такое смотрите?

– Картинку из журнала.

Феоктиста Саввишна пододвинулась к барышням.

– Что же это такое? Моды?

– Моды.

– Нынешние?

– Нынешние.

– Нынче наряжайтесь, барышни, наряднее: у вас зимой будет новый кавалер.

– Их всегда много, – отвечала с гримасою брюнетка.

– Кто такой? – спросила блондинка.

– Ловкий... красавец из себя... богатый.

– Кто же это такой? – проговорил Владимир Андреич.

– Василья Петровича Бешметева сын; чай, извольте знать?

– Знаю. Да откуда же ему богатство-то досталось?

– Я ведь смеюсь. Месяц только и танцевать-то учился: молодой еще человек, только просто медведь; сидит да ногой болтает; и родные-то тюфяком зовут. Не больно, кажется, и умен; говорить решительно ничего не умеет.

– Жалкий какой! – заметила брюнетка.

– А собой хорош? – спросила блондинка.

– Не так красив: волосы взъерошенные, руки неумытые.

– Фи, гадость какая! Хочется вам это рассказывать, – произнесла брюнетка.

– За что же его зовут тюфяком? – спросила

блондинка.

– Очень уж неловок, не развязен, – отвечала Феоктиста Саввишна.

– Как это смешно! Тюфяк! – продолжала блондинка. – Я непременно пойду с ним танцевать; я очень люблю танцевать с этими несчастными.

– Вот этого-то тебе и не позволят сделать, – возразил Владимир Андреич. – Я уж заметил, что ты всегда с дрянью танцуешь. А отчего? Оттого, что все готово! Как бы своя ноша потянула, так бы и знала, с кем танцевать; да! – заключил он выразительно и вышел.

Блондинка покраснела.

На другой день Феоктиста Саввишна на крестинах у своего двоюродного брата, у которого Бахтиаров купил лошадь, рассказала, что Перепетуя Петровна до сих пор все еще плачет по зяте и очень недовольна приехавшим из Москвы племянником, потому что он вышел человек грубый, без всякого обращения, решительно тюфяк. На этот ее рассказ по преимуществу обратили внимание: рябая дама, знакомая Перепетуи Петровны, и какой-то мозглый старичок, пользовавшийся, по его

словам, расположением Анны Петровны. А дней через несколько с помощью Феоктисты Саввишны и исчисленных мною особ многие, очень многие узнали, что после покойного Бешметева приехал сын, ужасный чудак, неловкий, да, кажется, и недалкий – просто тюфяк.

## II

# Брат, сестра и тетка

Между тем как таким образом разносился слух о молодом Бешметеве, он сидел, задумавшись, в своей комнате. Невдалеке от него помещалась молодая женщина: это была его сестра, Лиза, как называла ее Перепетуя Петровна. Бешметев действительно никаким образом не мог быть отнесен по своей наружности к красивым и статным мужчинам: среднего роста, но широкий в плечах, с впалую грудью и с большими руками, он подлинно был, как выражаются дамы, очень дурно сложен и даже неуклюж; в движениях его обнаруживалась какая-то вялость и неповоротливость; но если бы вы стали всматриваться в его широкое бледное и неправильное лицо, в его большие голубые глаза, то постепенно стали бы открывать что-то такое, что вам понравилось бы, очень понравилось. Говорят, что это – оттенки мысли и чувств, которые в иных лицах не дают себя заметить при первом взгляде. Белые волосы его не были

взъерошены, как говорила Феокиста Саввишна, но, умеренно подстриженные, они, конечно, лежали, как им хотелось, что, впрочем, очень шло к его бледному и большому лбу; одет он был небрежно.

Совершенно другой наружности была Лизавета Васильевна: высокая ростом, с умным, выразительным лицом, с роскошными волосами, которые живописно собирались сзади в одну темную косу, она была почти красавица в сравнении с братом. В одежде ее заметны были вкус и опрятность, что, как известно, дается в удел не многим губернским барыням. В выражении лица молодой женщины высказывалось что-то грустное, почему она и казалась как бы старше двадцати пяти лет, которые прожила на белом свете. Брат и сестра сидели, задумавшись; глаза Лизаветы Васильевны были заплаканы. Они только вышли от больной матери. Старуха была разбита параличом, отнявшим у нее движение и язык и затмившим почти совершенно умственные способности; она помнила и узнавала одного только Павла. Большею частью она была в беспамятстве, а пришедши в себя, то истери-

чески смеялась, то плакала. Лизавету Васильевну она совершенно не узнала: напрасно Павел старался ей напомнить о сестре, которая с своей стороны начала было рассказывать о детях, о муже: старуха ничего не понимала и только, взглядывая на Павла, улыбалась ему и как бы силилась что-то сказать; а через несколько минут пришла в беспамятство.

Павел, получивший от медика приказание не беспокоить мать в подобном состоянии, позвал сестру, и оба они уселись в гостиной. Долго не вязался между ними разговор: они так давно не видались, у них было так много горя, что слово как бы не давалось им для выражения того, что совершалось в эти минуты в их сердцах; они только молча менялись ласковыми взглядами.

– Как мы с тобой давно не видались, Поль! – начала наконец Лизавета Васильевна.

– Давно, Лиза.

– Переменилась я с тех пор?

– Очень переменилась.

– У меня двое детей; старший сын ужасно похож на тебя.

– А муж твой, Лиза?

– Муж у меня, братец... он немного ветрен; но, впрочем, добрый человек и, кажется, любит меня.

– Зачем же ты за него вышла? – спросил Павел, глядя на сестру.

– Богу так угодно! Нас сосватала тетушка: она уговорила батюшку и матушку, насаказавши им о бесчисленном богатстве моего мужа.

– И что ж? Это вышло правда?

– Правда, – отвечала с горькою улыбкою молодая женщина.

– Помнишь, что ты мне говорила?

– Что я тебе говорила?

– Что ты...

Молодая женщина улыбнулась.

– Это давно уж прошло, – отвечала она, вспыхнув.

– Тебя не уговаривали выйти за другого?

– Нет, Поль, я сама первая согласилась, – отвечала молодая женщина.

– Не может быть!

– Отчего ж не может быть?.. Но, впрочем, перестанем говорить об этом, Поль... Это была глупость и больше ничего.

– А я на днях еще встретил Бахтиарова.  
Лизавета Васильевна вдруг побледнела.

– Разве он здесь? – спросила она, стараясь скрыть внутреннее волнение; но голос ее дрожал, губы слегка посинели...

Павел молчал и только внимательно посмотрел на сестру.

– Лучше поговорим о тебе, – начала Лизавета Васильевна, стараясь переменить предмет разговора. – Что ты с собой хочешь делать?

Этот вопрос, в свою очередь, смутил Павла.

– Не знаю, – отвечал он после минутного молчания.

– Ты думаешь здесь служить?

– Нет.

– Так, стало быть, ты хочешь уехать, опять с нами расстаться надолго?

– Да мне надобно бы было ехать.

– Но матушка? Как ты ее оставишь?

Павел задумался.

– Мое положение, – начал он, – очень неприятно... Я думал непременно ехать.

– Поживи, братец, с нами.

– Нельзя, Лиза, мне бы хотелось по подгото-

вить себя и выдержать на магистра.

– Ну, а потом что?

– А потом... потом может быть очень хорошо... это лучшая для меня дорога.

– Так поезжай.

– А матушка?..

Лизавета Васильевна несколько минут ничего не отвечала.

– Ей, может быть, сделается лучше, – начала она, – и ты поедешь; она тоже к тебе придет.

Разговор этот был прерван приходом Перепетуи Петровны.

– Лизанька! Друг мой! Ты ли это? – вскрикнула она, почти вбежавши в комнату, и бросилась обнимать племянницу; затем следовало с полдюжины поцелуев; потом радостные слезы.

– Давно ли ты, милушка моя, приехала? – говорила тетка, несколько успокоившись и усаживаясь на диване.

– Сегодня утром.

– Ну, слава богу, слава богу! Что сестричужка-то? Я и не спросила об ней.

– Матушка заснула, – отвечал Павел.

– Ну, слава богу, слава богу! Пусть ее почи-  
вает. Здравствуй, Паша. Я тебя-то и не замети-  
ла; подвинь-ка мне скамеечку под ноги; эта-  
кий какой неловкий – никогда не заметит. –  
Павел подал скамейку. – Погляди-ка на меня,  
дружочек мой, – продолжала Перепетуя Пет-  
ровна, обращаясь к племяннице, – как ты по-  
хорошела, пополнила. Видно, мать моя, не в  
загоне живешь? Не с прибылью ли уж? Ну,  
что муженек-то твой? Я его, голубчика, уж  
давно не видала.

– Он дома остался; слава богу, здоров, – от-  
вечала Лизавета Васильевна, целуя у тетки  
руку.

Перепетуя Петровна больше любила пле-  
мянницу, чем племянника, потому что та бы-  
ла к ней ласковее.

– Что деточки-то твои? Михайло Николаич  
писал, что они просто милашки.

– Я завтра их привезу к вам, тетушка.

– Непременно привези! Смотри же, одна и  
не ездиди! Паша, полно сидеть букой-то; подо-  
двинься, батюшка, к нам, поговори хоть с  
сестрой-то; ведь, я думаю, лет пять не видал-  
лись?

– Мы с ним уж, тетушка, наговорились и наплакались.

– Счастье твое, мать моя! А со мной – так он не больно говорлив. О чем это с тобою-то говорил?

– Рассказывал свои обстоятельства.

– Мне никогда ни слова не говорил. Какие же его обстоятельства? Да скажи, батюшка, хоть что-нибудь. Что ты скрываешь? Что, я тебе чужая, что ли? Зла, что ли, я тебе желаю? Я, кажется, ничего тебе не показывала, кроме моего расположения: грех тебе, Паша! Какие же это обстоятельства?

– Сестра вам лучше расскажет; она знает все, – отвечал Павел, с величайшим терпением выслушивавший претензии тетки.

– Какие же обстоятельства? – спросила снова любопытная Перепетуя Петровна, уже обращаясь к племяннице.

– Вот видите, тетушка, брату нужно ехать в Москву.

– Это зачем? – почти вскрикнула Перепетуя Петровна.

– Ему надобно выдержать на магистра.

– Что же это, должность, что ли, какая?

– Все равно что должность, – отвечал Павел.

– А жалованье велико ли?

– Жалованья нет.

– Так какая же это должность? Эдаких-то должностей и здесь много. Как же ты мать-то оставишь?

– Это-то меня и беспокоит, тетушка.

– Отчего ты не хочешь здесь служить? Не хуже тебя служит Федосьи Парфентьевны сын; уж именно, можно сказать, прекрасный молодой человек, с обращением: по-французски так и режет; да ведь служит же; скоро, говорят, чин получит; а тебе отчего не служить? Ты вспомни мать-то свою, чем она для тебя ни жертвовала? Здоровья своего, что называется, не щадила; немало с тобой возилась, не молоденькая была; а тебе не хочется остаться успокоить ее в последние, что называется, минуты. Лиза... конечно! Ну, да что же делать? Она ту меньше любила, да ведь она уж и отрезанный ломоть: у нее свои обязанности, свое семейство: иной бы раз и рада угодить матери, да не может, впору и мужу угождать да тешить его, а ты свободный человек,

мужчина! Нет, сударь, не следует; за это бог тебе всю жизнь не даст счастья! Нечего супиться-то, я правду говорю.

– Все это хорошо... и я сам знаю, тетушка, – возразил Павел.

– Нет, видно, не знаешь, коли хочешь делать другое.

– Я думаю ехать, если матушка сама мне это позволит, а после и ее к себе перевезти.

Перепетуя Петровна при этих словах покраснела, как вареный рак.

– Нет уж, Павел Васильич, извините, – начала она неприятно звонким голосом, – этого-то мы никак не допустим сделать: да я первая не позволю увезти от меня больную сестру; чем же ты нас-то после этого считаешь? Чужая, что ли, она нам? Она так же близка нашему сердцу, может быть, ближе, чем тебе; ты умница, я вижу: отдай ему мать таскать там с собой, чтобы какой-нибудь дряни, согрешила грешная, отдал под начал.

– Тетушка! – начал было Павел.

– Не смейте, сударь, этого и думать! – возразила Перепетуя Петровна. – Она, конечно, человек больной... пожалуй, он это сделает,

увезет ее... Да вот, дай господи мне на этом месте не усидеть: я первая до начальства пойду, ей-богу! Губернатору просьбу подам...

– Успокойтесь, тетушка! – сказала Лизавета Васильевна.

– Что это, сударыня, как это возможно? Вишь какой финти-фант! Пожалуй, гляди ему в зубы-то... Пусть один едет, уморит ее: по крайней мере на совести-то у нас не будет лежать. Ему, я думаю, давно хочется ее спровадить.

Павел весь вспыхнул...

– Бог с вами, тетушка! – проговорил он и ушел к себе в комнату.

Больная в это время простонала.

– Матушка-то моя простонала, – заговорила вдруг совершенно другим голосом Перепетуя Петровна и вошла в спальню к сестре. – Здравствуй, голубушка! Поздравляю тебя с радостью; вот у тебя обе твои пташки под крылышками. О голубушка моя! Какая она сегодня свежая; дай ручку поцеловать.

При этих словах Перепетуя Петровна поцеловала у сестры руку.

– Позови, матушка, Павла-то сюда, – приба-

вила она, обращаясь к племяннице.

Лизавета Васильевна пошла за братом. Павел стоял, приклонясь к окну; слезы, неведомо для него самого, текли по его щекам.

– Братец! Пойдем к матушке, – сказала тихо Лизавета Васильевна.

Павел, как бы пробудившись от сна, вздрогнул; потом, увидев, что это была сестра, обнял ее, крепко поцеловал, утер слезы и пошел к матери.

– Вот тебе и Паша! Подойди к матери-то, приласкайся, – говорила Перепетуя Петровна, усевшаяся на кровати рядом с сестрою.

Больная, не обращая внимания на ее слова, взяла сына за руку и начала глядеть на него.

– Будь спокойна, матушка-сестрица, он не поедет, – заговорила Перепетуя Петровна, – как ему ехать? Он не может этого и подумать; его бог накажет за это.

На глазах старухи показались слезы.

– Не уедет, матушка, ей-богу, не уедет! Как это возможно? Мы все его не отпустим. Скажи, сударь, сам-то, что не поедешь. Что молчишь?

Больная сначала расхохоталась, потом перешла к слезам и начала рыдать.

– Что это, Павел Васильич! – вскрикнула Перепетуя Петровна, вышед из себя. – До чего ты доводишь мать-то? Бесстыдник этакий! Бога не боишься!

– Поль! Успокой маменьку, – сказала Лизавета Васильевна брату.

– Я не поеду, матушка, – проговорил, наконец, Павел.

Но старуха не унималась и продолжала плакать.

– Я не уеду, матушка, я всю жизнь буду при вас, – говорил он, целуя мать.

Лизавета Васильевна и Перепетуя Петровна плакали; последняя даже рыдала очень громко, приговаривая:

– Давно бы так, сударь, что это за неблагодарность такая, за нечувствительность?

Еще с полчаса продолжалась эта сцена. Наконец, больная успокоилась и заснула. Тетка уехала вместе с Лизаветой Васильевной, за которой муж прислал лошадей, а Павел ушел в свою комнату.

– Господи! Что мне делать? – сказал он,

всплеснув руками, и бросился на постель.

Целый час почти пролежал он, не изменив положения; потом встал и, казалось, был в сильном волнении: руки его дрожали; в лице, обычно задумчивом и спокойном, появилось какое-то странное выражение, как бы все мышцы лица были в движении, темные глаза его горели лихорадочным блеском. Он начал разбирать свои бумаги и, отложив из них небольшую часть в сторону, принялся остальные рвать. Через несколько минут все мудрые рукописи, как-то: лекции, комментарии, конспекты, сочинения, были перерваны на несколько кусков. Павел принялся было и за книги, но корешковые переплеты устояли против его рук, и он удовольствовался только тем, что подложил их к печке, видно, с намерением сжечь их на другой день. Этот энергический припадок, кажется, был не в духе Павла: он, видно, не был похож на тех горячих людей, которые, рассердившись, кричат, колотят стекла, часто бьют своих лакеев и даже жен, если таковые имеются, а потом, через четверть часа, преспокойно курят трубку. Мой студент после варварского поступка с

своими тетрадями упал в изнеможении на постель; в полночь, однако, он встал и, кажется, несколько успокоился, потому что бережно начал собирать разорванные бумаги и переложил книги от печки на прежнее место. Заснул он, впрочем, уж утром.

### III

## Михайло Николаич Масуров

На другой день, часу в первом пополудни Михайло Николаич Масуров, муж Лизаветы Васильевны, стоял у себя на дворе, в шелковом казакине, в широких шароварах, без шапки, с трубкою в зубах и с хлыстом в руке. Перед ним гоняли на корде лошадь, приведенную ему для продажи цыганам. Масуров имел курчавые волосы, здоровое, смазливое лицо и довольно красивые усы. Его шелковый казакин, его широкие шаровары, даже хлыст в руке и трубка в зубах очень шли к его наружности: во фраке или сюртуке он был бы, кажется, гораздо хуже.

Цыган нахваливал лошадь, а Масуров, как знаток, находил в ней недостатки.

– Смотри, барин, – говорил цыган, – передние-то ноги как несет! Корабли пройдут.

– Передние-то хорошо несет, да задними-то хлябит; на двуногой-то, брат, далеко не уедешь. Ванька! Подведи-ка ее сюда! – Ванька подвел лошадь к барину. – Вот она где хля-

бит-то, – говорил Масуров, толкая сильно кулаком лошадь в заднюю лопатку, так что та покачнулась, – шей-то, смотри, ничего нет; вот и копыта-то точно у лошака; это уж, брат, значит, не тово, не породиста.

– Что копыта? – говорил цыган, поднимая ногу у лошади. – Ты посмотри, какая нога-то у лошади.

– Сашка! Куда ты бежишь? – сказал Масуров, хватая за платье горничную, которая бежала из избы с утюгом.

– Полноте, сударь, гладить пора. Ей-богу, обожгу: вон барыня смотрит в окошко.

– Эка важность, барыня! – И он уж хотел было обхватить ее за талию, но она дотронулась до дерзкой руки утюгом; тот невольно отдернул ее, и горничная, пользуясь минутой свободы, юркнула в сени. – Эка, пострел, хорошенькая! – заметил Масуров, глядя ей вслед.

Горничная действительно была хорошенькая. Лизавета Васильевна, несмотря на слабость своего супруга в отношении прекрасного пола, не оберегала себя с этой стороны, подобно многим женам, выбирающим в горничные уродов или старух. Она в это время точно

сидела с братом у окна; но, увидев, что ее супруг перенес свое внимание от лошади к горничной, встала и пересела на диван, приглашая то же сделать и Павла, но он видел все... и тотчас же отошел от окна и взглянул на сестру: лицо ее горело, ей было стыдно за мужа; но оба они не сказали ни слова.

На круглом столе, стоявшем около дивана, лежала какая-то бумага. Лизавета Васильевна машинально взяла ее и развернула: это была записка следующего содержания: «Приезжайте сегодня: мы вас ждем. Вы вчера зарвались; нужно же было понадеяться на шельму вальета». Лизавета Васильевна побледнела. Она очень хорошо знала смысл подобных записок: беспокойство ее еще более увеличилось, когда вспомнила она, что вчерашний день, сверх обыкновения, оставила ключи от шкатулки дома. «Он, верно, вчера играл», – подумала она и вышла в спальню. Увы! Подозрения ее оправдались; шкатулка была даже не заперта; из пяти тысяч, единственного капитала, оставшегося от продажи с аукционного торга мужнина имения, она недосчиталась ровно трех тысяч. Видно, Лизавете Васильев-

не было очень жаль этих денег: она не в состоянии была выдержать себя и заплакала; она не скрыла и от брата своего горя – рассказала, что имение их в Саратовской губернии продано и что от него осталось только пять тысяч рублей, из которых прекрасный муженек ее успел уже проиграть больше половины; теперь у них осталось только ее состояние, то есть тридцать душ. Но чем этим будешь жить? А главное, на что воспитывать детей, которых уже теперь двое? Вот что узнал Павел о ее семейных обстоятельствах. Лизавета Васильева просила его поговорить мужу. Павел обещался.

– Ты только сама начни, сестрица: вдруг неловко, – заметил он.

В то же время послышался голос Масурова. – Ух! Ой, батюшки, отцы родные! – говорил он, входя в комнату. – Ой, отпустите душу на покаяние! – продолжал он, кидаясь в кресла. – Ой, занемогу! Ей-богу, занемогу! – и залился громким смехом.

– Что тебе так весело? – спросила Лизавета Васильевна.

– Ах, душка моя! Ты себе представить не

можешь, что видел сейчас. Вообрази... вспомнить не могу... – Но звонкий смех, которым разразился он, снова прервал его речь.

Брат и сестра невольно улыбнулись, глядя на наивную веселость Михайла Николаича.

– Да что такое? – повторила Лизавета Васильевна.

– Вы сами умрете со смеха, – продолжал Масуров, утирая выступившие от смеха на глазах слезы. – Можешь себе представить: вхожу я в кухню, и что же? Долговязая Марфутка сидит на муже верхом и бьет его кулаками по роже, а он, знаешь, пьяный, только этак руками барахтается. – Тут он представил, как пьяный муж барахтается руками, и сам снова захохотал во все горло, но слушатели его не умерли со смеха и даже не улыбнулись: Лизавета Васильевна только покачала головой, а Павел еще более нахмурился. «И это человек, – думал он, – семьянин, который вчера проиграл почти последнее достояние своих детей? В нем даже нет раскаяния; он ходит по избам и помирает со смеха, глядя на беспутство своих дворовых людей». Михайло Николаич еще долго смеялся; Павел потихоньку

начал разговаривать с сестрой.

– Ну, душка, – говорил, унявшись, Масуров и обращаясь к жене, – велика нам подать закусить, знаешь, этого швейцарского сырку да хереску. Вы, братец, извините меня, что я ушел; страстишка! Нельзя: старый, знаете, коннозаводчик. Да, черт возьми! Славный был у меня завод! Как вам покажется, Павел Васильич? После батюшки мне досталось одних маток две тысячи.

Павел с удивлением взглянул на зятя; Лизавета Васильевна только улыбнулась: она, видно, привыкла к подобным эффектным выходкам своего супруга.

– У тебя, Мишель, всегда есть привычка прибавлять по два нуля, – заметила она ему.

– Вот прекрасно! Да ты-то почему знаешь? Когда ты приехала, я их давно проиграл. Много, черт возьми, я в жизнь мою проиграл!

– А вчера много ли проиграл? – спросила Лизавета Васильевна.

Масуров очень сконфузился.

– Я вчера не проиграл, – отвечал он, запинаясь.

– Где же три-то тысячи?

Масуров покраснел и ничего не отвечал; он только мотал головой жене, показывая глазами на брата, который сидел в задумчивости.

– Нечего кивать головой-то, – говорила Лизавета Васильевна, – при брате я могу говорить все. Ну, скажи, Польш, хорошо ли это в один вечер проиграть три тысячи рублей?

– Очень нехорошо! – начал Павел. – Жена-тому человеку не следует рисковать не только тысячами, но даже рублями.

Говоря это, он, видимо, делал над собой большое усилие.

Михайло Николаич переминался.

– Не стыдно тебе? – сказала Лизавета Васильевна.

– Ну, душка, извини, – говорил Масуров, подходя к жене, – счастье сначала ужас как везло, а под конец как будто бы какой черт ему нашептывал: каждую карту брал, седая крыса. Ты не поверишь: в четверть часа очистил всего, как липку; предлагал было на вексель: «Я вижу, говорит, вы человек благородный».

– Это еще лучше! Сколько же ты по вексе-

лю-то проиграл?

– Ей-богу, душка, ни копейки. Что я? Сумасшедший, что ли? Ты думаешь, я не понимаю, – что братец не скажет! – я семейный человек, мне стыдно это делать. Вот как три тысячи проиграл, так и не запираюсь: действительно проиграл. Ну, прости меня, ангельчик мой Лиза, ей-богу, не стану больше в карты играть: черт с ними! Они мне даже опротивели... Сегодня вспомнил поутру, так даже тошнит.

– Немудрено после такого проигрыша, – заметил Павел.

– Ну, душка моя, – продолжал Масуров, ласкаясь к жене, – скажи, простила меня? Дай ручку поцеловать!

Лизавета Васильевна, кажется, мало верила в раскаяние своего мужа.

– Пустой ты человек! – сказала она, отнимая у него свою руку.

– Лизочка, душка моя! Ну, дай хоть мизинчик поцеловать! Хочешь, я встану на колени? – И он действительно встал перед женой на колени. – Павел Васильич, попросите Лизу, чтобы она дала мне ручку.

Павел молчал; ему, видимо, неприятна была эта сцена. Лизавета Васильевна глядела на мужа с чувством сожаления, очень похожим на презрение, но подала ему руку, которую тот звонко поцеловал.

– Важно! Гуляй теперь: жена простила! – вскричал Масуров, поднявшись на ноги и потирая руки. – Ну, теперь, душка, вели же нам подать хересок и закусить... О милашка! Славная у меня, черт возьми, жена! – продолжал он, глядя на уходящую Лизавету Васильевну. – Я ведь ее очень люблю, даже побаиваюсь.

– Вам нужно поосторожнее издерживать деньги, – начал Павел, когда сестра ушла, – вы небогатый и семейный человек.

– Да ведь, братец, я, ей-богу, даже очень скуп: спросите хоть жену; вчера вот только, черт ее знает, как-то промахнулся. Впрочем, что ж такое? У меня еще прекрасное состояние: в Орловской губернии полтораста отлично устроенных душ, одни сады дают пять тысяч годового дохода.

– Мне сестра говорила, – возразил Павел, не могши снести этой лжи, – что у вас имение

осталось только в здешней губернии.

– Вот пустяки-то, так уж пустяки! – вскричал Масуров, нисколько не сконфузившись. – Верьте ей: она ужасная притворщица!

Подали закуску.

– Выпьемте-ка, любезный братец, по стаканчику хереску в честь нашего знакомства.

От стаканчика Павел отказался и выпил только рюмку; но Масуров выпил целый стакан.

– Послушайте, братец, – начал он, садясь около Павла, – что, если я вас о чем попрошу, исполните?

– Что такое?

– Нет, скажите наперед, что вы не откажете.

– Я не знаю, в чем еще состоит просьба.

– Нет ли у вас рублей двухсот займа? Я так издержался, что, ей-богу, даже совестно! Только жене, ради бога, не говорите, – продолжал он шепотом, – она терпеть этого не может; мне, знаете, маленькая нуждишка на собственные депансы.[1]

Мороз пробежал по коже Павла; он почувствовал полное отвращение к зятю.

– Я не имею денег, – отвечал он сухо.

– Ах, черт возьми, это скверно! Не знаете ли по крайней мере у кого занять? – продолжал не унывавший Масуров. – Покутили бы, канальство, вместе!

Павел на это ничего не ответил, но молча встал и пошел было в соседнюю комнату.

– Куда это вы? – спросил его Масуров.

– Я ищу сестру; хочу проститься.

– Посидите! Она сейчас выйдет. Вы, видно, не охотники пошалить? А еще... – Продолжение этой речи было прервано приходом Лизаветы Васильевны.

– Прощай, сестрица, – сказал Павел, не могши подавить в себе неприятного чувства.

– Обедай у нас, Поль!

Павел хотел было отказаться, но ему жаль стало сестры, и он снова сел на прежнее место. Через несколько минут в комнату вошел с нянькой старший сын Лизаветы Васильевны. Он, ни слова не говоря и только поглядывая искоса на незнакомое ему лицо Павла, подошел к матери и положил к ней головку на колени. Лизавета Васильевна взяла его к себе на руки и начала целовать. Павел любовался

племянником и, кажется, забыл неприятное впечатление, произведенное на него зятем: ребенок был действительно хорош собою.

– Поленька! Кто это сидит? – спрашивала его Лизавета Васильевна, указывая на брата.

Ребенок глядел на Павла и молчал.

– Постой, я тебе на ушко шепну, – продолжала мать и, пригнув его головку, что-то ему шепнула.

– Кто же? – снова повторила она, указывая на брата.

– Дада, – отвечал шепотом ребенок.

– Полька! Поди сюда! – кричал Масуров, видно, желавший тоже приласкать сына.

Ребенок посмотрел на него и не думал сходиться с коленей матери.

– Поди сюда, говорят тебе, – повторил Масуров, протягивая руки. – Лиза, душка моя, пошли его ко мне.

– Поди к отцу, – сказала Лизавета Васильевна, ссаживая Поля с коленей.

Ребенок нехотя начал переходить комнату; но только что подошел к папеньке, как сейчас же заревел: Михайло Николаич, по обыкновению, ухватил его пухленькую щеч-

ку между пальцами и начал трясти.

– Экий какой! Сейчас и заплакал!

Лизавета Васильевна молча встала и взяла опять сына к себе на колени; дитя тотчас же замолчало.

Обед прошел обыкновенным своим порядком. Павел и Лизавета Васильевна мало ели и больше молчали; но зато много ел и много говорил Михайло Николаич. Он рассказывал шурина довольно странные про себя вещи; так, например, он говорил, что в турецкую кампанию какой-то янычар с дьявольскими усами отрубил у него у правой ноги икру; но их полковой медик, отличнейший знаток, так что все петербургские врачи против него ни к черту не годятся, пришил ему эту икру, и не его собственную, которая второпях была затеряна, а икру мертвого солдата. О своей физической силе и охотничьих своих способностях он тоже отзывался не очень скромно: с божбой и клятвою уверял он своих слушателей, что в прежние годы останавливал шесть лошадей, взявшись обеими руками за заднее каретное колесо, бил пулей бекасов и затравливал с четырьмя борзыми собаками в один

день по двадцати пар волков.

Павел ушел от сестры с грустным и тяжелым чувством. «Она более чем несчастна, – говорил он сам с собою. – Добрая, благородная! И кто же ее муж? Кто этот человек, с которым суждено ей провести всю жизнь? Он мот, лгун, необразованный, невежа и даже, кажется, низкий человек!»

## IV Павел

С наступлением зимы губернский город, где происходили описываемые мною происшествия, значительно оживился: составились собрания и вечера. Общество, как повествует предание, было самое блистательное, так что какой-то господин, проживавший в том городе целую зиму, отзывался об нем, по приезде в Петербург, в самых лестных выражениях, называя тамошних дам душистыми цветками, а все общество чрезвычайно чистым и опрятным. Все веселились, даже Перепетуя Петровна ездила в два – три дома играть в преферанс. Родным племянником она была очень недовольна. «Что это за молодой человек, – говорила она, – скажите на милость? Не хочет показаться в общество; право, в нем ничего нет дворянского-то, совершенный семинарист. Вон посмотришь на другую-то молодежь: что это за ловкость, что это за вежливость в то же время к дамам, – вчуже, можно сказать, сердце радуется; а в нем

решительно ничего этого нет: с нами-то насилу слово скажет, а с посторонними так и совсем не говорит. Чего у него недостает? Платье бесподобное, фрак отличнейший – самого тонкого сукна, выезд хороший; слава богу, после покойника-то одних городских саней осталось двое; мать бы ему никогда в этом не отказала, по крайней мере был бы на виду у хороших людей; нет, сударь ты мой, сидит сиднем, в рождество даже никого не съездил поздравить». Но зато везде являлся и всех поздравлял со всевозможными праздниками другой ее племянник, Михайло Николаич Масуров. Он очень успел, по словам тетки, заискать в обществе, а все потому, что ласков и обходителен; и к ней он тоже был очень ласков. Она начинала к нему чувствовать более и более родственного расположения. «Что он мне? – говорила она. – Ведь почти посторонний человек, а лучше родного-то племянника, ей-богу! Приедет, расскажет, где был, что видел и куда опять поедет: прекраснейший человек!»

Перепетуя Петровна была совершенно права в своих приговорах насчет племянника. Он

был очень не говорлив, без всякого обращения и в настоящее время действительно никуда не выезжал, несмотря на то, что владел фраком отличнейшего сукна и парными санями. Но так как многие поступки человека часто обуславливаются весьма отдаленными причинами, а поэтому я не излишним считаю сказать здесь несколько слов о детстве и юношестве моего героя.

Павел родился на свет очень худеньким и слабым ребенком; все ожидали, что он на другой же день умрет, но этого не случилось: Паша жил. В продолжение всего своего младенчества он почти не давал голоса и только, бывало, покряхтит, когда захочет есть. Ходить он начал на третьем году и еще позднее того заговорил. Мать с восторгом рассказывала, что Паша с превосходным характером; и действительно, ребенок был необыкновенно тих, послушен и до невероятности добр: сын ключницы, ровесник Павла, приходивший в горницу играть с барчонком, обыкновенно выпивал у него чай, обирал все игрушки и даже не считал за грех дать ему при случае туза; Павел не сердился за это, но сносил все

молча и никогда не жаловался. Другие дворовые люди были тоже очень довольны барчонком, потому что он никогда на них не ябедничал, и они обыкновенно делали при нем все, что им вздумается. Павел никогда не резвился и не бегал, а сидел больше в детской на лежанке, поджавши ноги. Любимым его занятием было вырезать из бумаги людей с какими-то необыкновенно узкими талиями и раскрашивать их красками; целые дни он играл ими, как в куклы, водил их по лежанке, сажал, заставлял друг другу кланяться и все что-то нашептывал. Собою был Паша очень нехорош и страшно неопрятен. Нанковые казакинчики, в которые его одевали, были вечно перепачканы; сапоги свои он обыкновенно стаптывал и очень скоро изнашивал; последнего обстоятельства даже невозможно и объяснить, потому что Паша, как я и прежде сказал, все почти сидел. Ребенок, кажется, сознавал, что он нехорош собою, потому что очень не любил, когда приезжали гости, особенно нарядные, которые часто привозили с собою прехорошеньких детей и говорили с ними по-французски; ему было очень совест-

но сидеть при них в гостиной; он прятал свои руки и ноги, или, лучше сказать, весь старался спрятаться в угол, в котором обыкновенно усаживался. Ему казалось, что все смотрят на него с пренебрежением и сожалением; его никто никогда, кроме матери, не ласкал; молодые барыни никогда не подзывали его для поцелуя и для разговоров, как это бывает с хорошенькими детьми; в его старообразном лице было действительно что-то отталкивающее.

Василия Петровича отдали под суд, и с этого времени к ним решительно перестали ездить гости. Паша этому душевно радовался и с тех пор почти никого не видал, кроме отца и матери. Для образования его был нанят семинарист. Перепетуя Петровна пришла в отчаяние и чуть не поссорилась с сестрою, доказывая ей, что семинаристы ничему не научат, потому что они без всякого обращения. Однажды (Павлу минуло в это время двенадцать лет) к Бешметевым приехал какой-то дальний родственник из Петербурга. Видно, этот господин был не кое-кто, потому что хозяева безмерно ему обрадовались, приняли с ка-

ким-то подобострастием и беспрестанно называли его: ваше превосходительство.

– Что это, Василий, твой сын, что ли? – спросил генерал за столом, взглянув на Павла.

– Сын, ваше превосходительство, – отвечал Василий Петрович.

– Чему ты, милый мой, учишься? – сказал генерал, обращаясь к ребенку.

– Мы еще многому-то, по слабости здоровья, не начинали учить; теперь иногда семинарист ходит, – отвечала мать.

Генерал покачал головой.

– Да что же такое тут здоровье-то? За что же вы ребенка-то губите, оставляя его в невежестве? – У Павла навернулись на глазах слезы. – Смотрите, уж он сам плачет, – продолжал генерал, – сознавая, может быть, то зло, которое причиняет ему ваша слепая и невежественная любовь. Плачь, братец, и просись учиться: в противном случае ты погиб безвозвратно.

Много после того генерал говорил в том же тоне и очень убедительно доказал хозяевам, что человек без образования – зверь дикий,

что они, то есть родители моего героя, если не понимают этого, так потому, что сами необразованны и отстали от века.

Василий Петрович и Анна Петровна, пристыженные генералом, на другой же день решились готовить сына в гимназию. Паша обрадовался этому решению: он очень хорошо понял, что генерал прав, и ему самому хотелось учиться. Семинарист, имевший, между прочим, известную слабость Александра Македонского, был заменен приходским священником и учителем математики из уездного училища. Ребенок оказал невероятные успехи и через год был совершенно готов в первый класс гимназии. Пашу повели на экзамен. Богу одному разве известно, чего стоило моему герою прийти в первый раз в школу; но экзамен он выдержал очень хорошо, хотя и сконфузился чрезвычайно. Товарищи приняли Павла, как обыкновенно принимают новичков: только что он уселся в классе, как один довольно высокий ученик подошел к нему и крепко треснул его по лбу, приговаривая: «Эка, парень, лбина-то!» Потом другой шалун пошел и пожаловался на него

учителю, говоря, что будто бы он толкается и не дает ему заниматься, тогда как Павел сидел, почти не шевелясь. Учитель, любивший задавать новичкам острастку, поставил на целый день Павла на колени. После этого Бешметев начал бояться учителей и чуждаться товарищей и обыкновенно старался прийти в гимназию перед самым началом класса, когда уже все сидели на местах. Учиться ему, впрочем, было очень легко.

Незаметно шел год за годом. Павел подрастал. Из некрасивого и робкого ребенка он сделался мешковатым юношей. Перепетуя Петровна просто приходила в отчаяние, глядя на своего племянника, и не называла его иначе, как тюфяком. В гимназии Павел решительно не шалил, не грубил учителям и хорошо учился. Директор называл его «благонравный господин Бешметев», но товарищи его называли зубрилой; они не то чтобы не любили Бешметева, но как-то мало уважали. Все почти товарищи, некоторые из зависти, а другие просто для удовольствия, любили подтрунить над ним, рассказывая, что будто бы он спит с нянькою и по вечерам беспрестанно

долбит уроки, а трубки покурить не смеет и подумать, потому что маменька высечет. Молча переносил Павел эти насмешки, но видно было, что они ему неприятны: он очень не любил бывать с товарищами, ни к кому из них никогда не ходил и к себе не звал. Дома Павел не беспрестанно долбил, как думали товарищи: он даже не много занимался, часто сидел с матерью и рассказывал ей что-нибудь. Анна Петровна внимательно слушала сына, хотя ничего не понимала из его слов; но более всего Павел любил быть один, лежать на кровати и мечтать. Восемнадцати лет он кончил курс в гимназии и начал собираться в Москву, чтобы поступить в университет. Анна Петровна еще за месяц перед отъездом сына принялась плакать, а в минуту расставания с ним упала в страшный обморок и целые полгода после того не осушала глаз.

Павел приехал в Москву и отыскал квартиру со столом на Смоленском рынке, у одной титулярной советницы Подхлебовой, по рекомендательному письму от Перепетуи Петровны, находившейся с Подхлебовой когда-то в

большой дружбе. Титулярная советница очень опасалась взять к себе на квартиру молодого человека, потому что вообще в числе молодых людей очень много пьяниц, развратных и буянов; но Перепетуя Петровна писала весьма убедительно, и Подхлебова решилась, тем более что третья комната нанимаемой ею квартиры была решительно ей не нужна. Скоро страх титулярной советницы совершенно рассеялся: молодой человек оказался скромн и тих, даже более, чем следовало. Она прозвала его старичком и всем своим знакомым рассказывала, что постояльца ей просто бог послал, что он второй феномен, что этакой скромности она даже сама в девицах не имела, что он, кроме университета, нигде даже шагу не сделал, а уж не то чтобы заводить какие-нибудь дебоширства. Придет, пообедает, полежит, почитает книжку, попишет и, видно, чрезвычайно много занимается науками; даже с ней мало вступает в разговоры, хотя она и старается его обласкать.

С озабоченным и несколько сердитым лицом явился Павел в университет, сел на самую дальнюю скамейку и во все время экза-

менов не сказал почти ни с кем ни слова. Так же начал он ходить и на лекции: приходил, садился где-нибудь вдали, записывал слова профессора, а потом уходил. Он не сошелся ни с одним из товарищей и ни с одним из них даже не кланялся. Дома он действительно, как говорила титулярная советница, вел самую однообразную жизнь, то есть обедал, занимался, а потом ложился на кровать и думал, или, скорее, мечтал: мечтою его было сделаться со временем профессором; мечта эта явилась в нем после отлично выдержанного экзамена первого курса; живо представлял он себе часы первой лекции, эту внимательную толпу слушателей, перед которыми он будет излагать строго обдуманые научные положения, общее удивление его учености, а там общественную, а за оной и мировую славу. С течением времени, однако, такого рода исключительно созерцательная жизнь начала ему заметно понаедать: хоть бы сходить в театр, думал он, посмотреть, например, «Коварство и любовь»[2]; но для этого у него не было денег, которых едва доставало на обыденное содержание и на покупку

книг; хоть бы в гости куда-нибудь съездить, где есть молодые девушки, но, – увы! – знакомых он не имел решительно никого. Часто часу в десятом-одиннадцатом вечера выходил он из дома и долго ходил по улицам без всякой цели и только иногда останавливался перед каким-нибудь освещенным домом... Внутри было светло: в каком-то фантастическом свете являлись ему движущиеся там фигуры людей; ему казалось, что там должно быть очень хорошо и весело. Лежа по вечерам на кровати, он каким-то странным чувством прислушивался к говору женских голосов, раздававшемуся в комнате хозяйки. К ней очень часто ходили ее приятельницы, но все, как нарочно, были очень дурны собой.

За два года перед выпуском Бешметев, приехав домой на вакацию, увидел в первый раз сестру свою. Сначала он очень дичился ее, но Лиза была живее брата; она начала его мало-помалу приучать к себе, и к концу вакации он даже просиживал с нею целые дни и разговаривал. Перед отъездом она ему намекнула, что ей по преимуществу правится некто Бахтиаров. Павла, кажется, это очень заинте-

ресовало: он в каждом письме после того намекал сестре на это обстоятельство. На третьем курсе Бешметев переменил квартиру. Хозяйка его, титулярная советница Подхлебова, несмотря на то, что двенадцатый год вдова, была женщина строгой нравственности. Сначала она, как мы видели, очень опасалась взять к себе на квартиру молодого студента, но потом успокоилась, увидев, что этот студент совершенный старичок, и очень скоро к нему привыкла. Она вместе с ним обедала, пила его чаем, часто приходила в его комнату и даже упросила быть при ней в халате, очень справедливо замечая, что, живши вместе, на всякий час не убережешься. Потом... Титулярная советница, несмотря на сорок пятый год жизни, хранила еще в груди своей сердце, способное любить: когда Бешметев уехал на вакацию, она с ужасом догадалась, что питает к своему постояльцу не привычку, а чувство более нежное, более страстное, потому что, в продолжение трех месяцев его отсутствия, безмерно грустила и скучала, а когда Павел приехал, она до сумасшествия обрадовалась ему и чрезвычайно сконфузилась.

В голове ее образовалась довольно смелая мысль: она вздумала выйти замуж за Павла, когда он кончит курс, а до тех пор постараться внушить ему любовь к себе. С этого времени жизнь Павла сделалась гораздо комфортабельнее: в комнате его поставлена была новая мебель, и даже приделано было новое драпри к окошку; про стол и говорить нечего: его кормили как на убой; сама титулярная советница начала просиживать целые дни в его комнате; последнее, кажется, очень надоедало Павлу, потому что он каждый раз, когда входила к нему хозяйка, торопился раскрыть книгу и принимался читать. «Я вам не буду мешать, а только так посижу», – говорила хозяйка и, сев напротив, начинала пристально на него смотреть, вздыхать и даже набивала ему трубки; холодность Павла относила она к робости. Титулярная советница чувствовала непреодолимое желание объясниться с своим постояльцем и ободрить его. 10 октября, в день своего рождения, она, кажется, исполнила свое намерение: за ужином она много поила Павла вином, а потом пришла к нему в комнату и очень долго там сидела. Но на дру-

гой день Павел чуть свет ушел из дома и нанял другую квартиру. К титулярной советнице он более не возвращался; даже за вещами своими просил съездить своего нового хозяина, честного немца, питаемого повивальным искусством своей супруги. Госпожа Подхлебова, кажется, не ожидала такого поступка со стороны своего постояльца. «Что вам угодно? Я вас не знаю... Не может быть... Я не могу верить!..» – говорила она и решительно было не хотела отдавать вещей пришедшему за ними немцу. «Моя Каролин Ивановна кочет, я кочет, господин студент кочет: ви не может не давать... Когда ви, мой дам, не катите, то я па-шоль на квартальный», – сказал немец и действительно пошел было за квартальным; но титулярная советница сочла за лучшее покориться судьбе и отпустить вещи... Впрочем, она написала к Павлу предлинное письмо и послала его к нему с горничною девкой. Содержание этого письма мне тоже неизвестно, потому что и сам Бешметев, не прочитав его, разорвал и бросил в печь.

На новой квартире Павел начал жить так же однообразно и еще уединеннее. Хозяева

его не беспокоили: повивальная бабка почти никогда не бывала дома, а честный немец предавался по целым дням невинному и любимому его занятию: он все переписывал прописи, питая честолюбивые замыслы попасть со временем в учителя каллиграфии. Вскоре у Павла появилось новое занятие: он очень долго начал засиживаться у окна и все смотрел на крыльцо противоположного дома, откуда часто выходила молоденькая девушка в сопровождении пожилой дамы, садилась в парные сани, куда-то уезжала и опять приезжала. В теплые дни девушка выходила с какою-то дамой, а иногда с господином в бекешке гулять пешком и была одета, в таком случае, в теплый шелковый капот. Боже мой! Как хороша казалась Павлу его соседка! Какая была чудная у ней талия! А глаза... даже на таком дальнем расстоянии видно было, что у ней чудные черные глаза! Жизнь Павла как будто бы сделалась полнее. Каждый день он просыпался с надеждою увидеть соседку и действительно каждый день ее видел. Он очень хорошо заучил, в котором часу она ходит гулять, долго ли гуляет; знал дни, в кото-

рые она уезжала часов в двенадцать и возвращалась уже поздно. По праздникам девушка и дама выезжали из дома часу в одиннадцатом и часу в двенадцатом возвращались домой; Павел догадался, что они ездят к обедне, а потом узнал – и куда именно; оказалось, что в соседний приход. Он сам пошел туда, видел ее, видел вблизи, и каждое воскресенье, каждый праздник начал ходить в эту церковь. С этого времени он почти перестал заниматься и вполне предался своим мечтам. Ему очень хотелось, чтобы девушка его заметила, но этого ему никак не удавалось достигнуть.

В конце первой недели великого поста соседний дом заустел; ни девушки, ни дамы, ни господина в бекешке не стало видно: они уехали. Трудно описать, как Павлу сделалось скучно и грустно; он даже потихоньку плакал, а потом неимоверно начал заниматься и кончил вторым кандидатом. Профессор, по предмету которого написал он кандидатское рассуждение, убеждал его держать экзамен на магистра. Все это очень польстило честолюбию моего героя: он решился тотчас же готовиться; но бог судил иначе.

Через несколько времени Павел получил письмо от тетки, которая уведомляла его, что отец его умер, а мать в параличе, и просила его непременно приезжать как можно скорее домой. Павла это очень огорчило, и он тотчас же поехал, с твердым, однако, намерением снова возвратиться в Москву. Мы видели, какие печальные обстоятельства встретили Бешметева на родине, видели, как приняли родные его намерение уехать опять в Москву; мать плакала, тетка бранилась; видели потом, как Павел почти отказался от своего намерения, перервал свои тетради, хотел сжечь книги и как потом отложил это, в надежде, что мать со временем выздоровеет и отпустит его; но старуха не выздоравливала; герой мой беспрестанно переходил от твердого намерения уехать к решению остаться, и вслед за тем тотчас же приходила ему в голову заветная мечта о профессорстве – он вспоминал любимый свой труд и грядущую славу. Грустно, тошно становилось Павлу. «Поеду, непременно поеду», – говорил он сам с собою, и только день отъезда откладывал в дальний ящик... Он не мог себе без ужаса

представить той минуты, когда мать, прощаясь с ним, может быть не перенесет этого и умрет на его руках; кроме того, не будучи самонадеян, он, кажется, не слишком твердо был убежден, что достигнет своей любимой цели, профессорства, или по крайней мере эта цель была слишком еще далека. Весьма естественно, что в настоящем своем положении Бешметев не был спокоен: он чувствовал невыносимую тоску, грусть и скуку; заниматься ему почти не давали, потому что то кликали к матери, то приезжала тетка или сестра, да, кажется, и сам он был не слишком расположен к деятельности. Оставаясь один, он обыкновенно ложился на кровать и бог знает о чем начинал думать, а сердце между тем беспрестанно ныло и тосковало. Семейная жизнь сестры была для Бешметева новым источником неприятностей; Масуров казался ему отвратительнейшим существом, а сестра страдалицею, тем более что ей угрожало впереди существенное зло – бедность. Впрочем, Лизавета Васильевна впоследствии ни слова не говорила брату о своих семейных неприятностях, была как будто бы спокойна и очень

ласкалась к Павлу. Целые дни проводили они вдвоем. Бешметев начал все более сближаться с сестрою, сделался с нею говорлив, откровенен и даже поверил ей свою мечту. Женщины, как известно, очень находчивы. Лизавета Васильевна нашла, что брат может заниматься, не уезжая в Москву, и что, если ему нужны книги, он может их выписать. Бешметев счел эту мысль довольно справедливою и решился при первом же получении оброков выписать рублей на двести книг и начать приготовляться. Успокоившись на этом решении, он между тем целые дни начал просиживать у сестры.

Случайно или умышленно, но только разговоры их по преимуществу стали склоняться на любовь. Лизавета Васильевна в этом отношении была гораздо опытнее брата: она знала любовь в самых тонких ее ощущениях; она, как видно, очень хорошо знала страдания и счастье влюбленного. С отрадою и не без волнения прислушивался Павел к словам сестры и понимал их каким-то неясным чувством; в первый раз еще сблизился он с женщиною и взглянул в ее сердце.

– Где это ты, сестрица, все узнала? – спросил он однажды, прослушав от сестры живой рассказ о нечаянной встрече одной молодой девушки с любимым человеком.

– Я много читала романов, – отвечала она.

Павел сомнительно покачал головой.

– Женщина в двадцать лет много знает, много чувствовала, – продолжала Лизавета Васильевна.

– И много испытала? – перебил Павел.

– Может быть, и так, – отвечала Лизавета Васильевна.

Результатом таких бесед было то, что Павел, приходя от сестры и улегшись на постель, не сознавая сам того, по преимуществу начал думать о женщинах. Московская соседка была припомнена в малейших подробностях. «Как хороша вообще женщина! – думал он. – Какое блаженство любить хорошенькую женщину!» Праздное воображение его дополняло ему то, что не досказывала сестра. Он потом рассказал ей слегка о своей любви в Москве к соседке, которую он, по его словам, до сих пор слишком хорошо помнит, как будто бы видел ее вчера.

## Неожиданная встреча

Лизавете Васильевне случилась надобность уехать на целый месяц в деревню. Павлу сделалось очень скучно и грустно. Он принялся было заниматься, но, – увы! – все шло как-то не по-прежнему: формулы небесной механики ему сделались как-то темны и непонятны, брошюрка Вирея скучна и томительна. «Не могу!» – говорил он, оставляя книгу, и вслед за тем по обыкновению ложился на кровать и начинал думать о прекрасной половине рода человеческого.

Проскучав недели две, Павел вздумал съездить к тетке. Перепетуя Петровна, при его приходе, стояла перед зеркалом и надевала что-то вроде мантильи, сшитой по ее собственному воображению.

– Насилу-то, батюшка, пожаловал, – сказала она, увидев племянника. – Ну что, какова маменька-то?

– Все так же-с, – отвечал Павел.

– Палашка, – говорила Перепетуя Петров-

на, отряхая шелковое платье, – ведь юбка-то у меня все-таки видна.

– Нет, матушка, это так.

– Какое, дура, так! Паша, видна, у меня юбка-то?

– Я ничего не вижу.

– Наклонись, батька, пониже, посмотри хорошенько, нехорошо... растрепой-то приедешь.

– Я ничего не вижу.

– Ну, уж и этого-то не умеешь сделать порядочно; экий какой! Еще кавалер! Что у меня сегодня какой нехороший цвет лица? Этакая краснота неприятная! Палашка! Подай-ка мне лодиколону обтереться. Оботрись-ка, Павел, и ты.

– Да мне-то зачем, тетушка?

– Пустяки, сударь, изволь-ка обтереться да поедем вместе со мной.

– Это куда?

– К Феоктисте Саввишне. Небось, не привезу в какое-нибудь неприличное место.

– Помилуйте, тетушка! Я с ней незнаком.

– Это что за вздор? А я-то на что? Я знакома, все равно. Нечего, извольте-ка собраться:

вместе и поедем, отпусти свою лошадь-то. Палашка, вели его лошади домой ехать!

– Тетушка...

– Вздор, сударь, вздор! – затараторила Перепетуя Петровна.

Как мой герой ни противился, но через несколько минут он был вытерт из собственных рук Перепетуи Петровны одеколоном и повезен в гости. Он едва мог опомниться у крыльца Феоктисты Саввишны. Перепетуя Петровна, всходя по деревянной лестнице, освещенной фонарем, опиралась на руку племянника как для поддержания своей особы, так и для прекращения Павлу всякой возможности улизнуть, что уже и было им прежде того один раз сделано. Они вошли в лакейскую, где было с десятков шуб, три лакея и сильный запах салом. В зале... Но я предварительно должен сказать несколько слов о хозяйке дома и ее гостях. Феоктиста Саввишна, так как и Перепетуя Петровна, не принадлежала к высшему губернскому кругу, но имела из этого круга один только дружественный дом – Кураевых; сфера же ее знакомства ограничивалась незначительным чиновным лю-

дом. В настоящее время у Феоктисты Саввишны были в гостях некто помещик Иван Иванович, дающий деньги под проценты, уездный стряпчий, человек очень бы хороший, но, к несчастью, по несколько раз в год предающийся запою, и, наконец, учитель гимназии, метивший в инспекторы, и еще кое-кто. Все эти господа привезли с собою жен, а некоторые и своячениц; но вечера свои Феоктиста Саввишна обыкновенно скрашивала, приглашая к себе дружественное для нее семейство из высшего круга – Кураевых. Владимир Андреич никогда сам не ездил к Феоктисте Саввишне, но, занимая иногда через нее деньги, жену и дочерей отпускал. Брюнетка, как сама она говорила, очень скучала на этих жалких вечерах; она с пренебрежением отказывалась от подаваемых ей конфет, жаловалась на духоту и жар и беспрестанно звала мать домой; но Марья Ивановна говорила, что Владимир Андреич знает, когда прислать лошадей, и, в простоте своего сердца, продолжала играть в преферанс с учителем гимназии и Иваном Ивановичем с таким же наслаждением, как будто бы в ее партии сидели самые важные

люди; что касается до блондинки, то она выкупала скуку, пересмеивая то красный нос Ивана Иваныча, то неуклюжую походку стряпчего и очень некстати поместившуюся у него под левым глазом бородавку, то... но, одним словом, всем доставалось! Гости же Феокисты Саввишны в отношении особ высшего круга держали себя почтительно, а хозяйка оказывала им исключительное внимание, хотя в то же время все почти знали, что эти особы – пуф, или, как говорили многие, сидят на овчинах, а бьют с соболей, то есть крепко небогаты. Но их изящная форма? Что делать: их изящная форма внушала невольное к ним уважение.

Хозяйка встретила еще в зале Перепетуя Петровну и Павла.

– Честь имею представить племянника, – сказала Перепетуя Петровна, целуясь с хозяйкой.

– Очень приятно, – отвечала Феокиста Саввишна, жеманно кланяясь Павлу и глядя на него с некоторым удивлением: она представляла его себе вовсе не таким. – Милости прошу, Перепетуя Петровна, – продолжала

она, указывая на дверь в гостиную, — Павел Васильич, сделайте одолжение.

Но Павел не сделал одолжения, не пошел в гостиную. Постояв несколько минут, он сел недалеко от гостя в коричневом фраке, который тоже, видно, не принадлежал к числу дамских любезников, а потому сидел один-одинехонек в зале. Брюнетке и блондинке сделалось очень скучно и жарко в гостиной, в которой действительно была страшная духота. Обе девушки, взявшись под руки, вышли в залу; они взглянули вскользь на Павла и на его соседа, а потом насмешливо переглянулись между собою; Павел тоже заметил их, и страшное изменение произошло в его наружности: он сначала вздрогнул всем телом, как бы дотронувшись до лейденской банки, потом побледнел, покраснел, взглянул как-то странно на гостя в коричневом фраке, а вслед за тем начал следить глазами за ходившими взад и вперед девушками: в брюнетке мой герой узнал свою московскую соседку. Барышни с своей стороны не глядели более ни на Павла, ни на его собеседника, а разговаривали громко о недавно бывшем маскараде на

французском языке, что они всегда делали в укор невежественным гостям Феоктисты Саввишны. Вскоре вошла хозяйка и начала умолять Юлию Владимировну что-нибудь пропеть; Юлия отказывалась.

– Вы не поверите, – говорила Феоктиста Саввишна, обращаясь к Павлу и к господину в коричневом фраке, – что у них за ангельский голосочек.

Коричневый фрак встал, кашлянул и ничего не сказал: выражение лица его как будто бы говорило: «Не могу знать-с, не мое дело!» Но еще страннее вел себя Павел; он даже не встал и не сказал ни слова хозяйке.

– Кто это такой? – шепнула блондинка.

– Бешметев, – отвечала хозяйка.

Блондинка сжала губки и слегка кивнула головой.

– Юлия Владимировна, – заговорила снова Феоктиста Саввишна, мучимая меломанией, – сжальтесь над нами, доставьте нам это наслаждение.

Юлия Владимировна сжалилась и с кислою миною уселась за фортепьяно. С первым же ее аккордом все гости, игравшие и не иг-

равшие в карты, вышли в залу, а потом со второго куплета (она пела: «Что ты, ветка бедная... «[3]) многие начали погружаться в приятную меланхолию.

– Я не могу без слез слушать этого романа, – говорила растроганная Марья Ивановна, – так, знаете, много в нем души!

– Да-с, – отвечал Иван Иваныч, – прекрасная песенка, да и Юлия Владимировна прекрасно изволят петь.

– У ней хорошенький голосок, – подтвердила мать.

Между тем Павел все сидел на прежнем месте и в том же положении. Блондинке очень хотелось поговорить с ним, по похвальной ее склонности сближаться с несчастными.

– Вы любите музыку? – спросила она его.

– Я не знаю музыки, – отвечал Бешметев.

– Вы ни на чем не играете?

– Ни на чем-с.

– А как вам нравится голос сестры?

При этом вопросе Павел заметно сконфузился и молчал.

«Какой он странный! – подумала блондин-

ка. – Как бы его заставить поговорить? Может быть, скажет что-нибудь смешное».

В этом намерении она села рядом с Павлом.

– Вы бываете в собрании? – спросила она.

– Нет-с.

– Отчего же?

– Я не люблю собраний.

– Отчего вы не любите собраний?

В это время брюнетка подошла к сестре.

– Послушай, *ma soeur*[4], – продолжала блондинка, – *monsieur* не любит собраний.

Юлия отвечала сестре улыбкою и, взяв ее за руку, отвела от Павла.

Часу в двенадцатом за Кураевыми были присланы лошади, и они, несмотря на убедительные просьбы хозяйки – закусить чего-нибудь, уехали домой. Павел уехал вместе с теткою после ужина. Придя в свою комнату, он просидел с четверть часа, погруженный в глубокую задумчивость, а потом принялся писать к сестре письмо. Оно было следующее:

«Лиза, друг мой! Ты себе представить не можешь, что сегодня со мною случилось. Пришел я к тетке; она собиралась в гости на ве-

чер и требовала, чтобы и я с ней ехал. Я, разумеется, не хотел; но она закричала, забранилась, почти насильно посадила меня в сани и привезла к Феоктисте Саввишне, и здесь я встретил, знаешь ли, кого? Я встретил ее... ту, которую видел в Москве. До сих пор я не могу еще хорошенько опомниться. Тетка говорит, что она здешняя: фамилия ее Кураева. Боже мой, как она еще похорошела! Лицо ее сделалось еще правильнее... Что за чудные у ней ручки, Лиза! Когда она играла на фортепьяно, это была не женщина, а античная статуя, совсем как есть статуя...»

Написав это, Павел лег на кровать. Губернский учитель музыки был, впрочем, совершенно другого мнения: он всегда выговаривал брюнетке за то, что она решительно не умеет держать себя за фортепьяно, потому что очень ломается. Пролежав несколько минут, Павел встал и снова принялся писать:

«Я решительно влюблен: во мне совершается что-то странное и непонятное. Бог знает что бы я готов был отдать, если бы она меня полюбила! Я бы за это готов был отказаться от всего».

На этом месте он снова остановился, снова полежал на постели и, вставши, еще приписал:

«Приезжай, Лиза, бога ради, скорее, – мне без тебя смертная скука; мне так много надобно с тобою переговорить... Что ты там делаешь? Приезжай! Остаюсь любящий тебя и влюбленный.

Бешметев».

Заклучивши таким образом письмо, он запечатал его и улегся уже совсем, но долго еще не спал и ворочался с боку на бок. Встав на другой день, Павел распечатал свое письмо, перечитал его несколько раз и, видно, раздумав посылать его, разорвал на мелкие куски; но тотчас же написал другое:

«Милая Лиза! Что ты делаешь в деревне? Приезжай скорее: мне очень скучно. Матушка в том же положении, тетка бранится; мужа твоего не видал, а у детей был: они, слава богу, здоровы. Приезжай! Мне о многом надобно с тобой переговорить. Брат твой...» и проч.

Это письмо Павел отправил и принялся читать какую-то книгу, но через четверть часа швырнул ее, лег вниз лицом на кровать и

почти целый день пролежал в таком положении.

## VI

# Поездка в собрание и ее последствия

Бешметев, в своем бездействии, думал решительно об одной брюнетке: ему страшно хотелось видеть ее. Он узнал, где их дом, и часа по два прохаживался невдалеке от него и поджидал, не пойдет ли она, как бывало это в Москве, гулять или по крайней мере не поедет ли куда-нибудь; был даже раза два в театре, но ничто не удавалось. Приехала Лизавета Васильевна. Павел только через неделю, и то опять слегка, рассказал сестре о встрече с своею московскою красавицей; но Лизавета Васильевна догадалась, что брат ее влюблен не на шутку, и очень этому обрадовалась; в голове ее, в силу известного закона, что все сестры очень любят женить своих братьев, тотчас образовалась мысль о женитьбе Павла на Кураевой; она сказала ему о том, и герой мой, хотя видел в этом странность и несбыточность, но не отказывался. Страшно и отраднo становилось ему, когда он начинал ду-

мать, что эта девушка, столь прекрасная и которая теперь так далека от него, не только полюбит его, но и отдастся ему в полное обладание, будет принадлежать ему телом и душой, а главное, душой... Как все это отрадно и страшно! Впрочем, Павел все это только думал, сестре же говорил: «Конечно, недурно... но ведь как?..» Со времени появления в голове моего героя мысли о женитьбе он начал чувствовать какое-то беспокойство, постоянное волнение в крови: мечтания его сделались как-то раздражительны, а желание видеть Юлию еще сильнее, так что через несколько дней он пришел к сестре и сам начал просить ее ехать с ним в собрание, где надеялся он встретить Кураевых. Лизавета Васильевна с удовольствием согласилась: ей самой очень хотелось видеть Юлию. Но здесь явилась новая забота: Павел боялся показаться в собрание и несколько раз был готов отказаться от своего намерения; даже мороз пробежал по телу при одной мысли, как неловко и неприятно будет его положение в ту минуту, когда он войдет в залу, полную незнакомых людей! Что ему там делать? Как вести се-

бя? О чем и с кем говорить? Не удивляйтесь, светский читатель, последним чувствованиям моего героя. Вы образовывались совершенно под другими условиями, вы, может быть, подобно Онегину, выйдя из-под ферулы вертявого, но с прекрасными манерами француза, еще с семнадцати лет, вероятно, сделались принадлежностью света и балов. Но Бешметев во всю жизнь был только на одном бале, куда его еще маленького привезла мать, и он до сих пор не забыл, как было ему неловко и скучно в светлой зале. В день собрания он очень много занимался своим туалетом, долго смотрелся в зеркало, несколько раз умылся, завился сначала сам собственноручно, но, оставшись этим недоволен, завился в другой раз через посредство цирюльника, и все-таки остался недоволен; даже совсем не хотел ехать, тем более что горничная прескверно вымыла манишку, за что Павел, сверх обыкновения, рассердился; но спустя несколько времени он снова решился. Часов в восемь он нарядился в черный фрак и какой-то цветной жилет. Фрак отличнейшего сукна сидел на нем не отлично. Когда Павел пришел к сест-

ре, она была еще в блузе; но голова ее была уже убрана по-бальному. В лице Бешметева очень заметно было волнение; поздоровавшись с сестрою, он беспокойными шагами начал ходить по комнате.

– О чем ты думаешь, Поль? – спросила Лизавета Васильевна.

– Так, ни о чем.

– Как ни о чем? Ты чем-то расстроен.

– Право, так; мне что-то не хочется ехать.

– Но ведь ты сам меня звал.

– Знаю, – но, видишь...

– Нет, ничего не вижу.

– Мне что-то нездоровится.

– Полно, Поль, пустяки-то говорить; что за робость.

Павел не отвечал.

– Что ж, мы не едем? – спросила Лизавета Васильевна после минутного молчания.

– Я не знаю, – отвечал Павел.

– Что это у тебя, братец, за дикость? Отчего это?

– Вовсе не дикость.

– Как не дикость? Чего же ты боишься людей?

– Я не боюсь, но не люблю общества; мне как-то неловко бывать с людьми; все на тебя смотрят: нужно говорить, а я решительно не нахожусь, в голове моей или пустые фразы, или уж чересчур серьезные мысли, а что прилично для разговора, никогда ничего нет.

Лизавета Васильевна покачала головой.

– Странный ты человек! Другой на твоём месте ещё в Москве бы познакомился с Кураевыми.

– Вот прекрасно! Каким же образом я мог бы познакомиться?

– Очень просто: приехать в дом, да и только.

– С какой же стати я приехал бы?

– Да как же другие-то знакомятся?

– Я не знаю: их, верно, зовут.

– Вовсе нет: сами приезжают.

– В таком случае это нахальство.

– Никакого тут нет нахальства.

– Конечно, нахальство; вдруг ни с того ни с сего приехать и рекомендоваться. Очень, я думаю, интересен я для них.

– Всякий молодой человек интересен в семейном доме, потому что он жених. Нет,

Поль, это не оттого... ты еще мало влюблен.

– Нет, Лиза.

– Что же?

– Так... ты неправду думаешь.

Сказав эти слова, Павел вспыхнул.

Брат и сестра замолчали.

– Послушай, Поль, – начала Лизавета Васильевна, – вот мы теперь съездим в собрание; ты еще посмотришь на нее, и я посмотрю, а потом...

– Что же потом?

– Потом стороной и разузнаем, что и как... а там ты съездишь в дом раза два...

– Ни за что не поеду.

– Нет, это пустяки: ты поедешь, а тут и я съезжу, и, смотришь, вдруг скажут: «Павел Васильич с супругою приехали!».

– Нет, сестрица, это невозможно... это так, одно пустое предположение...

– А вот посмотрим... Что ж? Прикажете одеваться? Угодно вам ехать? – шутила Лизавета Васильевна, вставая.

– Одевайся, – отвечал Павел каким-то странным голосом.

Лизавета Васильевна вышла, Павел задумался.

мался, и через полчаса она возвратилась уже совсем одетая. Бешметев, несмотря на внутреннее беспокойство, чуть не вскрикнул от удивления: так была она хороша с своею стройною талиею, затянутою в корсет, с обнаженными руками и шеею, покрытыми белою и нежною кожею, с этим умным, выразительным лицом, оттененным роскошными смолистыми кудрями. Павел невольно взглянул в зеркало, и – боже мой! – как некрасива и непредставительна показалась ему его собственная фигура! С приближением к собранию беспокойство его увеличилось, сердце ныло; он несколько раз покушался просить сестру воротиться назад, но промолчал.

В залу Бешметев вошел в лихорадочном состоянии; лицо его было бледно и с каким-то странным выражением. Масурову тотчас же заметили.

– Лизавета Васильевна! Наконец-то вы показались, – говорила толстая, почтенная дама, пожимая ей руку. – С кем это вы, – продолжала она, увидя Павла, – с мужем?

– Нет, это мой брат, – отвечала Лизавета Васильевна и взглянула было на брата, в на-

мерении представить его почтенной даме; но Павел очень серьезно глядел на сестру и не трогался с места.

Масурову окружили еще многие старые знакомые; некоторые уже знали о ее приезде, другие же, подходя к ней, издавали звуки удивления и радости: «*Mon Dieu! Est-ce bien vous?*» – «*C'est vous, madame?*»[5] Даже слышалось: «*ma bonne Lise*», «*ma chere*» и «*Lisette*»[6], – но никто не заметил, никто не приветствовал Павла. Ему сделалось, как и ожидал он, страшно неловко: он решительно не знал, что делать с руками, ногами, с шляпою, или, лучше сказать, он решительно не находил, как прилично расположить всю свою особу. Павел не знал ни одного обычного в то время приема молодых людей: он не умел ни закладывать за жилет грациозно руку, ни придерживать живописно этою рукою шляпу, слегка прижав ее к боку, ни выступить умеренно вперед левою ногою, а тем более не в состоянии был ни насмешливо улыбаться, ни равнодушно смотреть; выражение лица его было чересчур грустно и отчасти даже сердито. Стояв несколько минут в положении смешав-

шегоя в своей роли трагического актера, он считал за лучшее сесть. Не излишним считаю здесь заметить, что Павел по своей наружности был не самый последний в собрании. Не говоря уже о толстых, усевшихся играть в преферанс или вист, было даже несколько тоненьких молодых людей с гораздо более неприличными, чем он, для бала физиономиями и фраками: некоторые из них, подобно ему, сидели вдали, а другие даже танцевали. Конечно, были и такие, которые далеко превосходили Бешметева; к числу таких, по преимуществу, принадлежал высокий господин лет тридцати пяти, стоявший за колонною: одет он был весь в черном, начиная с широкого, английского покроя, фрака, до небрежно завязанного атласного галстука. Желтоватое лицо его, покрытое глубокими морщинами и оттененное большими черными усами, имело самое модное выражение, выражение разочарования, доступное в то время еще очень немногим лицам. Карие глаза его лениво смотрели на составлявшую невдалеке от него французскую кадрили. Высоким господином интересовались, кажется, многие дамы:

некоторые на него взглядывали, другие приветливо ему кланялись, а одна молодая дама даже с умыслом села близ него, потому что, очень долго заставив своего кавалера, какого-то долговязого юношу, носить по зале стул, наконец показала на колонну, около которой стоял фронт; но сей последний решительно не обратил на нее внимания и продолжал лениво смотреть на свои усы. Молодая дама, усевшись, несколько раз повертывала к нему голову и поднимала на него большие серые глаза.

– Monsieur Бахтиаров, – сказала, наконец, она, не утерпев.

Фронт лениво взглянул на нее.

– Посмотрите, – продолжала дама, указывая глазами на Бешметева, – за что этот господин сердится?

– Я вдали не вижу.

– Да это недалеко, на стуле у третьего окна.

– Не вижу-с.

– Да что это!.. Посмотрите.

– Право, не вижу.

Дама несколько обиделась и отворотилась от Бахтиарова.

– Вы сегодня не в духе? – начала снова она.

– Как и всегда.

– Пожалуйста, посмотрите на этого сердитого господина!

Бахтиаров насмешливо улыбнулся.

– Странное желание! – проговорил он и, нехотя приложив к глазу одностекольный лорнет, взглянул на Павла: равнодушное выражение лица его мгновенно изменилось, он как будто бы покраснел. – Какое сходство! – проговорил он как бы сам с собою.

– С кем? – спросила она.

Бахтиаров не отвечал.

– С кем сходство? – повторила дама.

– С вами, – отвечал Бахтиаров.

Дама пожала плечами и надула губы.

– Вы забываете, вам начинать, – сказал Бахтиаров после небольшого молчания.

Дама начала ходить в первой фигуре, но смешалась в шене. Между тем. Бахтиаров взглянул в ту сторону, где танцевала Лизавета Васильевна, и лицо его снова изменилось. Когда соседка его возвратилась на свое место, он выдвинулся из-за колонны и начал с нею весело разговаривать.

– У вас, должно быть, сегодня истерика? – сказала дама.

– Это отчего?

– Да как же? Вы то грустны, то веселы чересчур. Со мною бывало это.

– Со мною не то, что с вами, – ответил Бахтиаров. – Знаете ли что? Судьба иногда дарит человека в его скучной жизни вдруг, неожиданно, таким... как бы это выразить? – удовольствием, или, пожалуй, даже счастьем...

– Право? – перебила дама. – Не случилось ли с вами того же?

– Отчасти.

– Поздравляю вас! Стало быть, вы счастливы?

– Отчасти.

– Нельзя ли узнать причину?

– Невозможно.

– Почему же?

– Потому что вы всем расскажете.

– Честное слово, никому не скажу.

– Извольте: я встретил одного старого приятеля.

Дама сомнительно покачала головою и старалась угадать по направлению взгляда

Бахтиарова, на кого он смотрит.

– Полно, не приятельницу ли? – сказала она.

– У меня нет приятельниц.

– Это почему?

– Приятельницами могут быть только женщины.

– Ну так что же?

– А женщин я давно не люблю.

– А М., а К., а Д.? А дама в очках?

– Это они меня любили, а не я их.

– Послушайте: это неблагородно так говорить о женщинах.

– А еще неблагороднее сплетничать на приятельниц.

– Кто же на них сплетничает?

– Вы.

– Ах, боже мой!.. Это все говорят... Это вы сами сейчас говорили.

– Я хотел подделаться под ваш тон.

– Под какой же мой тон?

– Посплетничать.

– Это ни на что не похоже, – сказала дама, очень обидевшись, и встала с своего места.

Кадриль в это время кончилась. Бахтиаров

тоже довольно быстро пошел на другой конец залы: там стояла Лизавета Васильевна и разговаривала с каким-то плешивым господином. Бахтиаров подошел к ней и несколько минут оставался в почтительном положении.

– Je vous salue, madame![7] – произнес он потом довольно тихо. Лизавета Васильевна вздрогнула и обернулась: все лицо ее вспыхнуло, и она ответила одним молчаливым поклоном; Бахтиаров тоже, кажется, не находил, что говорить, и только пригласил ее на следующую кадрили: Лизавета Васильевна колебалась.

– Извольте, – отвечала она после минутного размышления. Оба они простояли еще несколько минут в странном молчании, наконец, Лизавета Васильевна опомнилась и пошла к брату.

– Поль, которая же она? – спросила молодая женщина, не могши скрыть внутреннего беспокойства.

– Ее здесь нет, – отвечал Павел, сидевший все это время в прежнем положении.

– Пойдем, походим, – сказала она, взяв его за руку.

– Нет, я не пойду.

– Бога ради, Поль; ты мне нужен.

– Не могу, сестрица.

– По крайней мере сядь около меня, когда я буду танцевать. Пожалуйста, Поль.

– Хорошо.

Лизавета Васильевна тотчас подхватила какую-то рыжую даму и начала с ней ходить по зале; Бахтиарову, кажется, очень хотелось подойти к Масуровой; но он не подходил и только следил за нею глазами. Проиграли сигнал. Волнение Лизаветы Васильевны, когда она села с своим кавалером, было слишком заметно: грудь ее подымалась, руки дрожали, глаза искали брата; но Павел сидел задумавшись и ничего не видел.

Всю эту сцену видела молоденькая дама, рассердившаяся на Бахтиарова: она видела, как он встал и пошел к Лизавете Васильевне; видела обоюдное их смущение и, сообразивши слова Бахтиарова о неожиданном его счастье, тотчас поняла все.

– Как я сейчас взбесила Бахтиарова! – сказала она, подойдя к даме в очках.

– Он всегда зол.

– Я открыла тайну его сердца.

– Давно ли у него стало сердце?

– А вот посмотрите, – сказала молоденькая дама, – каким тигром смотрит он за дамою в коричневом платье.

Бледная дама в очках еще более побледнела.

– У них старая интрига. Она еще в девушках...

– Я догадалась, – перебила молоденькая дама и отошла по случаю начала французской кадрили. – Посмотрите, как счастлив Бахтиаров, – заметила она своему кавалеру, очень еще молодому человеку, но с замечательно решительною наружностью.

– Именно, – подтвердил тот, – он даже перестал кисло улыбаться.

Молодой человек, постоянно сердившийся на Бахтиарова за то, что на том всегда был фрак самой последней моды, придя в буфет и решительно бросившись на диван, сказал сопровождавшему его приятелю, армейскому офицеру:

– Как эти господа не умеют себя выдерживать!

– А что? – спросил тот, безбожно затягиваясь изделием Жукова.[8]

– Мрачный Бахтиаров целую кадриль, как аркадский пастушок, любезничал с своей дамой.

– Он танцевал с Лизаветой Васильевной Масуровой, – отвечал офицер, имевший необыкновенную способность знать имена и фамилии всех, даже незнакомых ему дам.

Офицер, выйдя в залу, встал около другого офицера, тоже своего приятеля. Сей последний, увидев проходившую мимо их Лизавету Васильевну, заметил:

– Посмотри-ка, брат, какие плечи-то... тово...

– Нет, брат, тут не тово... занята ваканция.

– А кто?

– Да Бахтиаров.

– Ну, так уж, конечно не тово...

Между тем Бахтиаров действительно вел себя как-то странно и совершенно не по-прежнему: в лице его не было уже обычной холодности и невнимания, которое он оказывал ко всем городским дамам и в которых, впрочем, был, как говорили в свете, очень

счастлив; всю первую фигуру сохранял он какое-то почтительное молчание. Лизавета Васильевна тоже молчала и беспрестанно взглядывала на брата. В половине кадрили Павел, наконец, взглянув на сестру и увидев, что она танцует с Бахтиаровым, тотчас встал, быстро подошел к танцующим и сел недалеко от них. В это время Бахтиаров заговорил.

– Я не могу еще опомниться, – начал он, – я так неожиданно вас увидел, так поражен был...

– Мы года четыре с вами не видались, – перебила Лизавета Васильевна.

Бахтиаров несколько смешался.

– Ваш супруг здесь? – спросил он.

– Он остался дома... я с братом.

– Боже мой! Как я вас давно не видал... – начал было Бахтиаров прежним тоном.

Лизавета Васильевна прежде времени отошла делать соло.

– Вы несправедливы ко мне, – продолжал он, одушевляясь, – мало того, вы были жестоки ко мне!..

– Поль, поддержи мой веер, – сказала Лизавета Васильевна, обращаясь к Павлу.

– Это ваш брат?

– Да...

И она снова отошла.

Бахтиаров с досады начал щипать усы.

– Вы позволите мне быть у вас?.. – спросил он, уведя Лизавету Васильевну в последней фигуре на другую сторону от брата.

Молодая женщина несколько колебалась.

– Это от вас зависит, – отвечала она.

Кадриль кончилась.

– Поедем, Лиза, – сказал тихо Павел.

– Поедем, – отвечала молодая женщина.

– Accordez-moi la mazurque?[9]

– Pardon, monsieur, je pars.

– Mais...

– Allons, Paul...

– Извините, сударь, я ухожу!

– Но...

– Идем, Павел! (франц.).

Лизавета Васильевна вышла с братом.

Бахтиаров, расстроенный, снова встал у колонны.

– Вы, верно, скучаете, не видя одной особы, – сказала бледная дама в очках, проходя мимо его с молоденькою дамою.

– Гораздо менее, чем видя другую особу, – отвечал Бахтиаров.

Постояв еще несколько времени, он ушел в бильярдную и сел между зрителями на диван. Ему, видно, было очень скучно. Около бильярда ходили двое игроков: один из них был, как кажется, человек солидный и немного сердитый на вид, другой... другой был наш старый знакомый Масуров.

Солидный игрок дал промах.

– А вот мы так не так!.. – сказал Масуров, живо перекинувшись через борт бильярда, и, вывернув неимоверно локти, принялся целиться. – Бац! – вскрикнул он, сделав довольно ловко желтого шара в среднюю лузу. – Вот оно что значит на контру-то, каков удар! А? – продолжал он, обращаясь к зрителям.

– Отлично играют! – отнесся к Бахтиарову худощавый господин, которого в городе называли плательной вешалкой.

– Кто? – спросил Бахтиаров.

– Я говорю: Михайло Николаич отлично играют.

– Какой Михайло Николаич?

– Масуров.

– Это разве Масуров?

– Масуров... ловкий игрок.

Бахтиаров сейчас же встал с своего места и подошел к игрокам.

– Каков удар-то? – повторил Масуров, заметив его около себя.

– Славный! – отвечал Бахтиаров.

– Вот как долго целитесь, а еще говорите, что с Тюрей играли... на «себя», ей-богу, на «себя»! – повторил Масуров, между тем как прицеливался его партнер.

– Перестаньте говорить под руку, – возразил тот, отнимая с досадою кий.

– Да я и так ничего не говорю; играйте; что мне за надобность.

– Как же не говорите! Как колокол над ухом, – возразил партнер, снова принимаясь целиться.

– Сами вы колокол. Ну, смотрите... так и есть: на «себя»! – вскрикнул он и залился смехом.

Партнер действительно сделал на «себя».

– С вами невозможно играть, – сказал он, отнимая кий.

– Ну, уж вы и сердитесь... всяко бывает! А

вот мы так поиграем: красного сделаем да под желтого выход!.. Есть! Вот тут-то мы вас, ба-  
тенька, и поймали! Эй ты, маркерина, считай;  
раз двенадцать, два двенадцать; честь имею  
вас поздравить: партия кончена!

– Будет! – сказал партнер, выкидывая на  
бильярд десятирублевую.

– Давайте играть; что за пустяки?

– Не буду я играть, беспрестанно говорите  
под руку.

– Я не стану, ей-богу, не стану; слова не ска-  
жу.

– Не буду, – отвечал лаконически партнер  
и вышел.

– Экий какой! – проговорил ему вслед Ма-  
суров. – Кутнул на красненькую, да и испугал-  
ся... я, черт возьми, по десяти тысяч проигры-  
вал в вечер да и тут не отставал.

– Не хотите ли со мной? – сказал Бахтия-  
ров.

– Очень рад, – отвечал, обрадовавшись, Ма-  
суров, – вы ведь, кажется, гусар?

– Гусар.

Они начали играть. Масуров был в востор-  
ге: как-то так случилось, что он то с одного

удара кончил партию, то шары разбивались таким образом, что Бахтиарову оставалось делать только белого.

– Что это с вами? – говорили некоторые зрители, обращаясь к Бахтиарову.

– Он хорошо играет, – отвечал тот и начинал как будто бы сердиться.

– Нет, вам нельзя играть со мной так и так, – сказал Масуров, – возьмите десять вперед.

– Я оттого проигрываю, что мы играем по маленькой: давайте по пятидесяти рублей.

– Вот еще что вздумали! Как это возможно? Это значит наверняка взять у вас деньги. На вино давайте.

– Извольте.

И вино проиграл Бахтиаров.

– Будет! – сказал Масуров. – Нет, вам нельзя со мной играть, давайте пить.

Они сели за дальний столик.

– Я очень рад, что с вами познакомился, – произнес Михайло Николаич, протягивая руку к Бахтиарову.

– Взаимно и я, – отвечал тот, пожимая ему руку.

– Фамилия моя Масуров.

– А я Бахтиаров.

– Ну и прекрасно.

– Славно вы играете.

– Так ли я еще прежде играл! Не поверите: в полку, бывало, никто со мной не связывался. Раз шельма жид какую штуку выкинул в Малороссии на ярмарке: привозит бильярд без бортов; как вам покажется?

– Не может быть.

– Честью моей заверяю. Но... каким же образом, однако, играть?.. Тот... другой: были хорошие игроки; посмотрели; нет, видят, хитро! Что, я думаю... «Послушай, свиное ухо, – говорю я жиду, – когда у тебя пуста бильярдная?» – «От цетырих цасов ноци до восьми утра, ва-се благородие», – говорит. Хорошо! Прихожу в четыре часа ночи, начинаю катать шарами, всю ночь проиграл один, – что же? Поутру ею, каналью, самого обыграл на две партии. Тут было схватились со мной другие: было человек десять уланов; всех обдул, как липок; а смешнее всего, один чиновник, с позволения сказать, все белье с себя проиграл.

– Но я не понимаю, каким же образом играют? – сказал Бахтиаров, внимательно выслушав весь этот рассказ.

– Очень просто: дублетов вовсе нет, и тише бьют шары, чтоб не падали на пол. Чокнемтесь, monsieur... позвольте узнать ваше имя.

– Александр Сергеич.

– Чокнемтесь, Александр Сергеич!

Они чокнулись.

– Я сейчас имел удовольствие танцевать с вашей супругой.

– Что вы? Да разве она здесь?

– Была здесь; а вы, видно, и не знаете?

– А я и не знаю... Я дома целый день не был: помню, что-то говорила.

– Я знал их еще девушкой.

– Не правда ли, что славная женщина?

– Чудная!

– Да, черт возьми, кабы не была жена, да же приволокнулся бы за нею.

– А вы разве охотники волочиться?

– Даже очень люблю. Допьемте другую бутылку и пойдемте волочиться.

– Пойдемте.

– Там я, еще в прошлое собрание, видел да-

му: ух, черт возьми, с какими калеными глазами!

Новые знакомцы вышли под руку в залу, но Масуров скоро юркнул от Бахтиарова; он был в зале собрания как у себя дома, даже свободнее, чем ловкий и светский Бахтиаров: всем почти мужчинам подавал руку, дамам кланялся, иным даже что-то шептал на ухо; и Бахтиаров только чрез четверть часа заметил его усевшимся с дамою во ожидании мазурки. Михайло Николаич, увидя своего приятеля, показывал ему пальцем на свои глаза и в то же время подмигивал на свою даму. У дамы были действительно странные глаза: они были, если хотите, и черные, но как будто бы кто-то толкал их изнутри, и им сильно хотелось выпрыгнуть. Бахтиаров чуть не засмеялся и, желая не поддаться приятелю в выборе дамы, отыскал какую-то девушку тоже с довольно необыкновенными глазами. Эти глаза были, впрочем, совершенно другого свойства: они уходили внутрь, и как владельница их ни растягивала свои красноватые веки, глаза прятались и никак не хотели показаться на свет. Масуров захохотал во все горло, увидев

помещающегося с своей дамой около него Бахтиарова.

– Bravo, Александр Сергеич! То, что у вас очень закрыто, у меня очень открыто!

Оба знакомца немного дурачились в мазурке: они очень быстро вертели дам, подводя их к местам, то чересчур выделявали па, то просто ходили, выдумывая какие-то странные пословицы. В отношении же дам своих они вели себя несколько различно: Бахтиаров молчал и даже иногда зевал, но зато рекой разливался Масуров: он говорил даме, что очень любит женские глаза, что взгляд женщины для него невыносим, что он знал одну жидовочку и... тут он рассказал такую историю про жидовку, что дама не знала – сердиться на него или смеяться; в промежутках разговора Масуров обращался к Бахтиарову и спрашивал его вслух, знает ли он романс: «Ах, не смотрите на меня, вы, пламенные очи», и в заключение объявил своей даме, что он никогда не забудет этой мазурки и запечатлел ее в сердце. Дама молча поворотила на него свои глаза и отошла.

Бахтиаров и Масуров отужинали вместе,

выпили еще бутылки две шампанского, и Масуров начал называть своего приятеля просто – mon cher.

Дружеское сближение Бахтиарова с Масуровым заметили многие, и многие угадали настоящую причину: это были по преимуществу дамы, которые, как известно, в подобных случаях обнаруживают необыкновенное любопытство и невыразимую сметливость. На другой же почти день было решено, что гордец Бахтиаров заискивает в Масурове и поддывается под его дурной тон, потому что интригует с его женой. Слух об этом дошел и к Кураевым: брюнетка, говорят, услышав об этом, тотчас вышла к себе в комнату и целый день не выходила, жалуясь на головную боль. Горничная ее даже рассказывала, что будто бы барышня все это время изволила лежать в постели и плакала.

## VII

# Всякая всячина

Еще печальнее, еще однообразнее потекла жизнь Павла после его неудачной поездки в собрание; целые дни проводил он в совершенном уединении. С сестрою видался он гораздо реже. Лизавета Васильевна как-то изменилась, сделалась несколько странною и совершенно иначе держала себя в отношении к брату. По приезде из собрания она несколько дней была больна, или по крайней мере сказывалась больною, и лежала в постели. На другой же день поутру приехал к ним Бахтиаров. Михайло Николаич просил было жену выйти к его новому знакомому, который, по его словам, был старинный его приятель, видел ее в собрании и теперь очень желает покороче с ней познакомиться. Лизавете Васильевне очень неприятно было это посещение, и она решительно сказала мужу, что больна и не может выйти.

— Бог с тобой, Лиза, ты мне все делаешь на-против; этот ведь совершенно непохож на

других моих приятелей: человек с огромным весом, для детей наших даже может быть полезен.

Сказав это, Масуров вышел из спальни. Гость и хозяин, кажется, скоро совершенно забыли о Лизавете Васильевне. Они уселись играть в бостон и проиграли до вечера. На третий день, когда снова приехал Бахтиаров, Лизавета Васильевна спросила мужа: долго ли этот человек будет надоедать им?

– Нет, душа моя, – почти закричал Михайло Николаич, – ты хоть зарежь меня, а мы каждый день будем играть: такого отличнейшего и благороднейшего игрока я во всю жизнь не видал.

– Что же вы не играете у него?

– У него невозможно, ей-богу, невозможно: во всем доме переделывают печи; нам бы все равно.

– Это несносно, Мишель: целый день чужой человек.

– И не говори лучше, Лиза: это невозможно; в чем хочешь приказывай.

– Но как же?

– Душа моя, ангелочек, бога ради, не гово-

ри, – произнес Масуров и ушел проворно.

На четвертый день повторилась та же сцена. На пятый день Лизавета Васильевна проснулась бледнее обыкновенного, глаза ее были красны и распухли. Видно было, что она провела не слишком спокойную ночь. Часу в двенадцатом приехал Бахтиаров, и Михайло Николаич тотчас уселся с ним за карты. На этот раз Лизавета Васильевна не сказалась больною: она вышла в гостиную и довольно сухо поклонилась гостю, проговорившему ей свое сожаление о ее болезни; в лице Бахтиарова слишком было заметно волнение, и он часто мешался и даже забывал карты. Что касается до Лизаветы Васильевны, то она была как будто бы спокойна: работала, занималась с детьми, выходила часто из комнаты и, по видимому, решительно не замечала присутствия постороннего человека; но к концу дня, ссылаясь на головную боль, легла снова в постель. На следующие дни стали повторяться те же сцены. Павел был всему постоянным свидетелем. Он очень подозревал, что Бахтиаров неравнодушен к сестре и что она если и не любит, то когда-то очень любила этого че-

ловека: ему очень хотелось поговорить об этом с нею, но Лизавета Васильевна заметно уклонялась от искренних разговоров и даже по приезде из собрания перестала говорить с братом о его собственной любви. Когда начал Павел думать об отношениях сестры к Бахтиарову, ему становилось как-то грустно; неприятное предчувствие западало на сердце; положение его в доме Масуровых начало становиться неловким. Бахтиаров и Масуров его мало замечали, сестра чуждалась; он перестал к ним ходить. «Для чего это сестра переменилась ко мне? – часто думал Павел. – Отчего ж она не скажет мне, если точно любит этого человека? Но достоин ли он? Он светский человек; он мне не нравится». Павел прощал сестре чувство любви, но только ему казалось, что избранный ею предмет был недостоин ее; впрочем, при таких размышлениях Павлу всегда как-то становилось грустно и неприятно. «Лучше, если бы этого не было, – заключал он, – и что будет из этой любви?» На последний вопрос Павел боялся отвечать. Больше всего он сердился на Михайла Николаича. «Этот пустой человек, – думал

он, – решительно погубит все свое семейство, он в состоянии продать жену, он подл, низок, развратен... Как сестре не предпочесть Бахтиарова, который, может быть, тоже развратный человек, но по крайней мере приличен, солиден». Были даже минуты, когда Павел завидовал сестре и Бахтиарову: они любят, они любимы, тогда как он?.. Здесь в воображении его невольно начинал воскресать образ брюнетки, не той холодной брюнетки, которую он видел, которая не приехала в собрание, нет, другой – доброй, ласковой, приветливой к нему брюнетки; она подавала ему руку, шла с ним... Но мечты прерывались, его то звали к матери, то приезжала тетка или сестра и заставляли его рассказывать, что делала и как себя чувствовала старуха в продолжение двух дней и не хуже ли ей? На все вопросы Павел отвечал односложно. Тетка при этих посещениях обыкновенно выговаривала Павлу, почему он не служит, почему не бывает у нее и как ему не грех, что он так холоден к матери, которая для него была истинно благодетельница?

Однажды – это было в начале великого по-

ста – Перепетуя Петровна приехала к сестре. Она была очень взволнована, почему с несвойственной ей быстротою и небережливостью сбросила на пол салоп и вошла в залу: все лицо ее было в красных пятнах.

– Где Паша? – спросила она.

– У себя в комнате, – отвечала горничная.

Перепетуя Петровна прошла к Павлу.

– Здравствуй, Паша! Полно, нечего одеваться-то, и в халате посидишь. Что это у тебя какая нечистота в комнате? Пол не вымыт; посмотри, сколько на столе пыли; мало, что ли, батюшка, этих оболтусов-то? Притвори дверь-то: мне нужно с тобой поговорить.

Павел затворил дверь. Перепетуя Петровна уселась в кресла.

– Давно ли ты видел сестру?

– Дня с три.

– У них был?

– Нет, Лиза у нас была.

– А у них давно ли был?

– У них был неделю назад.

– Что она, с ума, что ли, сошла?

– Кто?

– Да сестрица-то твоя. – Павел с удивлени-

ем посмотрел на тетку. – Я себя не помню; можно сказать, если бы не мой твердый характер, я не знаю, что... Кто у них был при тебе?

– Никого.

– Нет, ты лжешь, что никого: у них был Бахтиаров; бывает каждый день, только что не ночует: вот что!

Павел тут только начал догадываться, в чем дело.

– Это приятель Михайла Николаича, – сказал он.

– Нет, не приятель; он скорей злодей его: он злодей всего нашего семейства. Прекрасно! Михайло же Николаич виноват!.. Сваливайте на мужа вину: мужья всегда виноваты! Ты и этого не понимаешь.

– Мне нечего понимать.

– Нет, ты должен понимать: ты брат.

– Что же мне такое понимать?

– А то понимать, что сестра твоя свела интригу.

– Тетушка...

– Нечего «тетушка». Ты думаешь – мне легко слышать, как целый город говорит, что она

с этим Бахтиаровым в интриге, и в интриге мерзкой, скверной.

Павел весь вспыхнул.

– Это клевета! Прошу вас, тетушка, не говорите этого при мне.

– Нет, я буду при тебе говорить: ты должен действовать.

– Мне нечего действовать: это сплетни подлых людей.

– Ты не можешь этого сказать: это говорили мои хорошие знакомые, это говорят везде... люди постарее, посолиднее тебя; они жалуют тут меня, зная мое родственное расположение, да бедного Михайла Николаича, которого спаивают, обыгрывают, может быть, отправят на тот свет. Вот что говорят везде.

– Тетушка, пощадите сестру! – произнес Павел почти умоляющим голосом.

– Нет, мне нечего ее щадить; она сама себя не щадит, коли так делает; я говорю, что чувствую. Я было хотела сейчас же ехать к ней, да Михайла Николаича пожалела, потому что не утерпела бы, при нем же бы все выпечатила. А ты так съезди, да и поговори ей; просто скажи ей, что если у них еще раз побывает

Бахтиаров, то она мне не племянница. Слышишь?

– Я не поеду, тетушка.

– Как тебе ехать? Я наперед это знала: давно уж известно, что ты никаких родственных чувств не имеешь, что сестра, что чужая – все равно; в тебе даже нет дворянской гордости; тебе ведь нипочем, что бесславят наше семейство, которое всегда, можно сказать, отличалось благочестием и нравственностью.

– Это одна клевета.

– Да за что же вы меня-то мучите, за что же я-то терзаюсь? Вы, можно сказать, мои злодеи; в ком мое утешение? О чем я всегда старалась? Чтобы было все прилично... хорошо... что же на поверку вышло? Мерзость... скверность... подлость... Я девок своих за это секу и ссылаю в скотную. Бог с вами, бог вас накажет за ваши собственные поступки. Съездить не хочешь! Лентяй ты, сударь, этакий тюфяк... ты решительно без всяких чувств, жалости ни к кому не имеешь!

В продолжение этой речи голос Перепетуи Петровны делался более и более печальным, и, наконец, она начала всхлипывать.

– Нет, видно, мне в жизни утешения ни от чужих, ни от родных: маятница на белом свете; приборал бы поскорее господь; по крайней мере успокоилась бы в сырой земле!

Перепетуя Петровна очень расстроилась.

Вошла горничная и сказала, что больная проснулась.

– Не сказывайте ей обо мне, – говорила Перепетуя Петровна, – я не могу ее видеть, мою голубушку; страдалицы мы с ней, по милости прекрасных детушек! Я сейчас еду...

И действительно уехала, не простясь даже с Павлом.

Перепетуя Петровну возмутила Феоктиста Саввишна. Она рассказала ей различные толки о Лизавете Васильевне, носившиеся по городу и по преимуществу развиваемые в дружественном для нее доме, где прежде очень интересовались Бахтиаровым, а теперь заметно на него сердились, потому что он решительно перестал туда ездить и целые дни просиживал у Масуровых.

Феоктиста Саввишна, поговорив с Перепетуйей Петровной, вздумала заехать к Лизавете Васильевне посидеть вечеров и собственным

глазом кой-что заметить. Она непременно ожидала встретить там Бахтиарова; но Лизавета Васильевна была одна и, кажется, не слишком обрадовалась гостю. Сначала разговор шел очень вяло.

– А вы не выезжаете? – спросила Феоктиста Саввишна.

– Нет, я не выезжала эти дни... Голова болит.

– Время такое, насморки везде. А я так сегодня целый день не бывала дома; бездомовница такая сделалась, что ужас; теперь вот у вас сижу, после обеда была у вашей тетушки... как она вас любит! А целое утро и обедала я у Кураевых... Что это за прекрасное семейство!

– А вы знакомы?

– Господи помилуй! Мало что знакома: я, можно сказать, дружна, близка к этому семейству.

– Которая из дочерей у них лучше? – спросила Лизавета Васильевна.

– Ах, Лизавета Васильевна, я просто не могу вам на это отвечать! Они обе, можно сказать, как два амура или какие-нибудь две белые голубки.

– Которая у них брюнетка?

– Старшая.

– Она мне лучше нравится.

– Да, это Юлия Владимировна: прекрасная девица. Дай только бог ей партию хорошую, а из нее выйдет превосходная жена; наперед можно сказать, что она не огорчит своего мужа ни в малейших пустяках, не только своим поведением или какими-нибудь неприличными поступками, как делают в нынешнем свете другие жены. – Последние слова Феоктиста Саввишна произнесла с большим выражением, потому что, говоря это, имела в виду кольнуть Лизавету Васильевну.

– Она очень нравится одному молодому человеку, – сказала та, не поняв последних слов Феоктисты Саввишны.

– Право? Кому же это?

– Этот молодой человек видел ее раза два. Он говорит, что она чудо как хороша собой, грациозна и бесподобно поет.

– Ай, батюшки! Кто же это такой? – спросила Феоктиста Саввишна, и у ней уже глаза разгорелись, как будто дело шло об ее собственной красоте или о красоте ее дочери.

– Он меня очень просил, – продолжала Лизавета Васильевна, – чтобы узнать стороной, как о нем думают у Кураевых и что бы они сказали, если бы он сделал предложение.

– Ах, боже мой! Кто бы это был? – сказала Феоктиста Саввишна, еще более заинтересованная. – Постойте, я ведь догадываюсь: не Бахтиаров ли?

Лизавета Васильевна покраснела.

– Это с чего вам пришло в голову? С какой мне стати говорить за него?

– Ну, я думала, так, по дружбе; он так часто бывает у вас.

– Он часто бывает у моего мужа. Нельзя ли вам, Феоктиста Саввишна, переговорить с Кураевыми?

– Да про кого, матушка, поговорить-то: я еще не знаю, про кого.

– Нет, вы наперед дайте слово, что переговорите.

– Извольте; про кого же?

– Про моего брата.

– Про Павла Васильича? Не может быть!

– Отчего же не может быть?

– Нет, вы шутите!

– Вовсе не шучу.  
– Да как же? Ведь он еще не служил.  
– Что ж такое! У него уж три чина.  
– Да кто их дал?  
– Царь дал. Он кандидат.  
– Ей-богу, не знаю... Позвольте, мне от своего слова отпираться не следует: поговорить поговорю; конечно, женихи девушке не бесчестье; только, откровенно вам скажу – не надеюсь. Главное дело – нечиновен. Кабы при должности какой-нибудь был – другое дело... Состояние-то велико ли у них?

– У него своих пятьдесят душ, да после тетки еще достанется.

Феоктиста Саввишна размышляла. Она была в чрезвычайно затруднительном положении: с одной стороны, ей очень хотелось посватать, потому что сватанье сыздавна было ее страстью, ее маниею; половина дворянских свадеб в городе началась через Феоктисту Саввишну, но, с другой стороны, Бешметев и Кураева в голове ее никоим образом не укладывались в приличную партию, тем более что она вспомнила, как сама она невыгодно отзывалась о Павле и какое дурное мнение

имеет о нем невеста; но мания сватать превозмогла все.

– Поговорю, Лизавета Васильевна, с большим удовольствием поговорю; я так люблю все ваше семейство! Мне очень будет приятно устроить это для вас. Вы говорите: у него пятьдесят душ и три чина?

Разговор этот прервался приходом бледного и расстроенного Павла. Лизавета Васильевна очень ему обрадовалась.

– Вот и он! Легок на помине. Как я тебя давно не видала, Поль, – говорила она, целуя брата в лоб и глядя на него, – но что с тобой? Чем ты расстроен?

Павел ничего не отвечал и, почти не кланяясь Феоктисте Саввишне, сел поодаль; Лизавета Васильевна долго вглядывалась в брата и сама задумалась. Феоктиста Саввишна, внимательно осмотрев Павла, начала с ним разговаривать, вероятно, для узнавания его умственных способностей; она сначала спросила его о матери, а потом и пошла допытываться – где он, чему и как учился, что такое университет, на какую он должность кандидат; и вслед за тем, услышав, что ученый кан-

дидат не значит кандидат на какую-нибудь должность, она очень интересовалась знать, почему он не служит и какое ему дадут жалованье, когда поступит на службу.

Павел говорил очень неохотно, так что Лизавета Васильевна несколько раз принуждена была отвечать за него. Часу в восьмом приехал Масуров с клубного обеда и был немного пьян. Он тотчас же бросился обнимать жену и начал рассказывать, как он славно кутнул с Бахтиаровым. Павел взялся за шляпу и, несмотря на просьбу сестры, ушел. Феоктиста Саввишна тоже вскоре отправилась и, еще раз переспросив о состоянии, чине и летах Павла, обещалась уведомить Лизавету Васильевну очень скоро.

# VIII

## Сватовство

Феоктиста Саввишна, возвратясь от Лизаветы Васильевны, почти целую ночь не спала; сердце ее каждый раз замирало и билось, когда она вспоминала, что судьба «калилась, наконец, над ней и доставила ей случай по-сватать. Будь другая на месте Феоктисты Саввишны, не имея для этого дела истинного призвания, она, конечно бы, не решилась сватать какого-либо полуплебея губернской аристократке и по причинам, выше уже изложенным. Собственно, два только благоприятные шанса имела Феоктиста Саввишна: во-первых, она слышала стороной, что будто бы у Кураевых продают имение с аукциона и что вообще дела их сильно плохи, а во-вторых, Владимир Андреич, обыкновенно человек гордый и очень мало с нею говоривший, вдруг на днях, ни с того ни с сего, подсел к ней и сказал: «Чем вы, любезная Феоктиста Саввишна, занимаетесь? Хоть бы молодым девушкам женихов приискивали», – а она,

как будто бы предчувствуя, и ответила, что она очень рада, но только в состоянии ли будет найти достойных молодых людей. Владимир же Андреич на это возразил: «Нынче девушкам копать нечего!» – и что вот хоть у него две дочери, девушки не из последних, а он зарываться не будет, был бы человек хороший.

На другой день Феоктиста Саввишна сходила к заутрене, к обедне и молилась, чтобы хорошо начать и благополучно кончить, и вечером же решила отправиться к Кураевым. Ехав дорогой, она имела два опасения: первое, чтоб не было посторонних, а второе, чтобы Владимир Андреич не очень уж был важен и сердит, потому что она его безмерно уважала и отчасти побаивалась; даже, может быть, не решилась бы заговорить с ним, если бы он сам прежде не дал тону. Первое ее опасение было напрасно: Кураевы только своей семьей сидели в угольной комнате; второе же, то есть в отношении Владимира Андреича, отчасти оправдалось: он был, видно, чем-то очень серьезным расстроен, а вследствие того и вся семья была не в духе; но Феоктиста

Саввишна не оробела перед этим не совсем благоприятным для нее обстоятельством и решилась во что бы то ни стало начать свое дело.

– Что это нынче за времена, – начала она, просидев с полчаса и переговора о различных предметах, – что это нынче за годы? Прошла целая зима... танцевали... ездили на балы... тоже веселились, а свадьбы ни одной.

На это замечание никто не ответил; Владимир Андреич поднял, впрочем, нахмуренные глаза и поглядел на нее.

– А ведь женихи-то есть, и очень бы желали, – продолжала она.

– Да где вы нашли женихов? – проговорил Владимир Андреич. – И танцевали, наша братья, женатые да мальчишки.

– Мало ли есть, которые и не выезжают. Право, нынче молодой человек, который по-солиднее, то и не поедет в общество-то. Не те времена: жизнь как-то не веселит. Вот, например, Василья Петровича Бешметева сын: прекраснейший человек, а никуда не ездит, все сидит дома.

– Это тюфяк-то? – перебила блондинка. –

Мы еще у вас его видели: смиренный такой.

– И который еще рук не моет? – прибавила насмешливо брюнетка.

– То-то и есть! Я не знаяши это говорила, ан вышло не то, – возразила увертливая Феоктиста Саввишна. – После, как узнала, так вышел человек-то умный; не шаркун, правда; что ж такое? Занимается своим семейством, хозяйством, читает книги, пятьдесят душ чистого имения, а в доме-то чего нет? Одного серебра два пуда, да еще после тетки достанется душ восемьдесят. Кроме того, у Перепетуи Петровны и деньги есть; я это наверно знаю. Чем не жених? По моему мнению, так всякую девушку может осчастливить.

Родитель и родительница весь этот рассказ выслушали очень внимательно.

– Да это его сестра за Масуровым? – спросила мать.

– Его самого.

– Семейство-то очень уж дурное: тетка Перепетуя Петровна... сестра Масурова – бог знает что такое! – говорила Кураева, глядя на мужа и как бы спрашивая его: «Следует ли это говорить?»

– Что ж такое сестра? – возразила Феоктиста Саввишна. – Она совершенно отделена. Если и действительно про нее есть там, как говорят, какие-то слухи, она не указчица брату.

– Это пустяки: что такое сестра? – проговорил Кураев. – Служит он где-нибудь?

– Нет, нигде не служит.

– Отчего же? Ленив, что ли?

– Ай нет; как это возможно! Холостой человек, одинокий: думает, не для чего: состояние обеспеченное, у него уж три чина: он какой-то коллежский регистратор, что ли.

– Коллежский секретарь?

– Так точно, коллежский секретарь.

Феоктиста Саввишна, сметливая в деле сватанья, очень хорошо поняла, что родители были почти на ее стороне; впрочем, она даже несколько удивилась, что так скоро успела. «Видно, больно уж делишки-то плохи», – подумала она и прямо решилась приступить к делу.

– Я, признаться сказать, – начала она не совсем твердым голосом, – нарочно сегодня к вам и приехала. В своем семействе можно говорить откровенно – он очень меня просил

узнать, какое было бы ваше мнение насчет Юлии Владимировны?

– Насчет меня? – спросила брюнетка и побледнела.

– То есть в каком же отношении насчет? – сказал Владимир Андреич, переглянувшись с женою.

– Ну, то есть известно, в каком. Он видел Юлию Владимировну: она ему очень понравилась, так он очень бы желал быть очастливлен. Конечно, его мало знают, но он говорит: «Я, говорит, со временем постараюсь, говорит, заслужить».

Владимир Андреич думал. Впрочем, по выражению его глаз заметно было, что слова Феоктисты Саввишны были ему не неприятны.

– Что ж, он делает формальное предложение, что ли? – спросил он.

– Да!.. Конечно... все равно и через меня... делает формальное предложение.

– Формальное предложение, – проговорил как бы сам с собою Владимир Андреич и поглядел на дочь.

Юлия сидела почти не живая; на глазах ее

навернулись слезы. Блондинка с испуганным и жалким лицом смотрела на сестру; у нее тоже показались слезы. Марья Ивановна глядела то на дочь, то на мужа. Несколько минут продолжалось молчание.

– Как ты думаешь, Марья Ивановна? – начал Владимир Андреич, обращаясь к жене. Та глядела ему в глаза и ничего не отвечала.

– Ну, а ты что, Юлия? – отнесся он к дочери. Юлия Владимировна едва собралась с духом отвечать.

– Я не хочу еще замуж, папенька.

– Это пустое ты говоришь: всякая девушка замуж хочет.

– Он мне не нравится, папенька.

– И это пустое...

Решив таким образом, Владимир Андреич встал и начал ходить по комнате; все другие сидели молча и потупившись. У Феокисты Саввишны очень билось сердце, и она беспокойным взором следила за Кураевым.

– Пойдем туда, Маша, – проговорил, наконец, Владимир Андреич, показав жене глазами на кабинет. Марья Ивановна встала и пошла за мужем. Барышни тоже недолго сидели

в угольной. Брюнетка взглянула исподлобья на Феоктисту Саввишну и, взяв сестру за руку, ушла с нею в другую комнату.

Феоктиста Саввишна, чтобы не мешать семейному совещанию, тоже вышла в залу и, прислонившись к печке, с удовольствием начала припоминать ту ловкость, которую обнаружила в этом деле. «Задала же я им задачу, – думала она: – господи, хоть бы мне эту свадьбу устроить: четвертый год без всякого дела. Старики-то, кажется, на моей стороне; невеста, пожалуй, заупрямится; ну да Владимир Андреич не очень чувствительный родитель: у него и не хочешь, да запляшешь. Признаться сказать, не ожидала я для себя этого. Делишки-то, главное, делишки, видно, больно плохи. Как бы подслушать, что барышни-то говорят?» – подумала Феоктиста Саввишна и, зная очень хорошо расположение дружественного для нее дома, тотчас нашла дверь в комнату барышень и, подойдя весьма осторожно, приложила к небольшой щели ухо. В комнате царствовало молчание и только слышались глухие рыдания. Феоктиста Саввишна тотчас же догадалась, что это пла-

чет невеста.

– Не плачь, та soeur, – заговорила блондинка, – папенька, может быть, еще не согласится... Ты скажи, что просто не можешь, что у тебя к нему антипатия.

– Какая тут антипатий? Больше, та soeur, чем антипатия. Я представить его не могу, имя его теперь уж мне противно. Что это такое? Выдают за дурака!

– Именно, – подхватила блондинка, – лицо гадкое, ноги кривые. Очень весело... такой муж своими немытыми руками будет обнимать. Фуй, гадость какая!

Брюнетка ничего не отвечала: несколько минут не было слышно ни слова.

– Если меня выдадут за него, – начала довольно тихо брюнетка, – я знаю, что делать.

– А что такое, та soeur?

– А вот увидишь.

– Скажи, душенька!

– А то, что я буду держать его, как лакея...

– Конечно: он того и стоит.

– Еще как стоит!

Снова продолжалось несколько минут молчание.

– Мне тебя, та soeur, – начала блондинка, – очень жаль: мы с тобой уж не будем жить вместе.

Брюнетка молчала.

– Все это гадкая Феоктиста Саввишна, – продолжала блондинка.

– Конечно, она, урод проклятый! – подхватила Юлия.

– Дыня гнилая!

– Киевская ведьма!

– Черт с хвостом!

Феоктиста Саввишна не сочла за нужное долее подслушивать и снова вышла в залу. Ей очень была обидна неблагодарность Юлии Владимировны, о счастья которой она старалась. «Впрочем, бог с ней! – подумала она. – Это происходит от глупости и молодости: им бы все за богачей выдавай; где же их взять? Для меня бы все равно сватать; сами виноваты; хороший-то жених спросит и приданого, а приданое в трубе прогорело, даром что модницы этакие! Вот посмотрим, сколько отвалит; ан смотришь: старую перину, новый венник да полтину денег; конечно, тряпок много, да ведь на тряпки-то хорошего человека не

приобретешь». Феоктиста Саввишна много еще думала в этом же роде: в голове ее проходили довольно серьезные мысли. Так, например: что если нет в виду хорошего приданого, так девушек не следует по моде и воспитывать, а главное дело – не нужно учить по-французски: что от этого они только важничают, а толку нет, и тому подобное.

Но еще более серьезные мысли, как и надобно было ожидать, высказывал Владимир Андреич в своем совещании с супругою.

– Как ты думаешь, Марья Ивановна? – начал он.

– Я, ей-богу, еще, Владимир Андреич, опомниться не могу. Мне кажется это даже дерзостью.

– Пустое! Где же тут дерзость?

Марья Ивановна не отвечала.

– Я тебя спрашиваю: где же тут дерзость?

– Конечно, если уж не дерзость, так, сам согласишься, странность.

– И странности никакой нет. А это не странность, что у нас имение-то все с молотка продадут? Это не странность, что я в пятьдесят лет должен ехать в Петербург – надевать

лямку и тереться в частной службе за какие-нибудь четыре тысячи в год? Это не странность, по-вашему, это не странность? Понимаете ли вы, что из этого выйдет?

– Я сама знаю, Владимир Андрейч, что наше состояние очень расстроено.

– Не расстроено, сударыня, а совсем его нет. Что теперь у нас? Домашняя рухлядь да экипажи; далеко-то не уедешь. Хорошо, что еще хоть частное место удастся приятелям выхлопотать, а то хоть по миру ступай; впору с одной-то возиться. Слава богу, что выискался добрый человек да берет, что называется, из одного расположения. Нет уж, сударыня, по милости вашей у меня шея-то болит давно; вам все готово, а я, может быть, целые ночи верчусь, как карась на горячей сковороде; у меня только и молитвы было, чтобы взял кто-нибудь; знаешь ли ты, что через месяц мы должны ехать отсюда? Ну, если б еще здесь оставались, можно бы было погодить, да и то... четыре зимы их вывозили, а что толку-то? Ездили, ухаживали, обедали, а ни один не присватался; припомни, сколько было этих франтов-то: Портнов, Караев, Мелуса, Ко-

варевский, Умнов, Глазопалов, Бахтиаров; а ведь ни одного не умели завлечь хорошенько; сами виноваты, мне делать нечего, в самого себя уж не влюбишь.

– Конечно... впрочем, все-таки... ты не рассердись, Владимир Андреич, я говорю это так: все-таки ужасно пожертвовать дочерью...

– Да какой черт ею жертвует? Не в Сибирь ссылают, замуж выдают; она, я думаю, сама этого желает. Жертвуют ею! В этом деле скорей наш брат жертвует. Будь у меня состояние, я, может быть, в зятя-то пригнул бы и не такого человека.

– Да ведь это я так только сказала...

– И так говорить не следует. Надобно ли нам о себе-то подумать?

– Конечно, надобно.

– Наш ведь век еще не определен!

– Конечно, еще не определен: может быть, мы еще долго будем жить.

– То-то и есть: долго жить. Теперь позви-ка Юлию... Я поговорю с ней, а после и ты ей внуши хорошенько: во-первых, что она бедная девушка, что лучше ей жениха быть не может, а в девках оставаться нехорошо, да

и неприлично в наш век.

Марья Ивановна вышла. Владимир Андреич, оставшись один, погрузился в размышления. Через несколько минут вошла, в сопровождении матери, невеста, с заплаканными глазами и бледная, как полотно.

– Поди, поцелуй меня, Юлия, – сказал Владимир Андреич ласковым тоном, – сядь поближе.

Юлия поцеловала отца и села.

– Знаешь ли ты, – начал он своим внушительным тоном, – что всякая порядочная девушка в двадцать лет должна думать выйти замуж?

– Знаю, папа.

– Ты порядочная девушка?

Юлия молчала.

– Тебе двадцать лет? Что ж из этого следует? То, что ты должна думать выйти замуж.

– Но, папа, я еще не хочу.

– Ты не можешь не хотеть, на том основании, как я сказал, что порядочная девушка в двадцать лет хочет замуж; но теперь другой вопрос: за кого выйти замуж?

– Мне он очень гадок.

– Хорошо: этот гадок, положим, так. Стало быть, ты кого-нибудь имеешь в виду. Может быть, в тебя кто-нибудь влюблен и уж делал тебе предложение? Кто ж это такой? Бахтияров, что ли?

– Мне никто не делал предложения, – отвечала, вспыхнув, Юлия Владимировна. – Я пойду, папенька, в монастырь.

– Прекрасно! Ступай в монастырь, только завтра же; зачем же тебе отягощать нас? Мы, стало быть, ничего уже не можем для тебя сделать. Мы поедем в Петербург, а ты ступай в монастырь.

Юлия залилась слезами.

– Вот видишь, – начал снова Владимир Андреич, – это только пустые слова, а в таком важном деле пустых слов говорить не следует. Плакать нечего, а надобно слушать, что говорят.

– Мне хочется, папенька, пожить с вами.

– Пожить с нами! Это всего лучше! На все, сударыня, свое время: с нами ты уж пожила; теперь тебе надобно выйти замуж, – ведь ты с этим сама согласна. Ну, скажи, согласна ли?

– Согласна.

– Прекрасно! Что ж тебя останавливает? Каков этот человек?

– Он совершенный тюфяк, папа.

– Вот то-то и есть; тебе, по молодости, не должно ни в чем полагаться на собственные понятия. А я тебе лучше растолкую, что это за человек. Во-первых, я знал его отца и мать; отец был очень честный человек, а мать умная и добрая женщина; во-вторых, он сам учился а университете и имеет уже три чина. Что же из этого выходит? Этот жених умный человек, по месту своего воспитания, потому что это высшее заведение, и должен быть добрый человек, по семейству, в котором он родился, а главное – состояние: пятьдесят душ незаложенных; это значит сто душ; дом как полная чаша; это я знаю, потому что у Василья Петровича бывал на завтраках; экипаж будет у тебя приличный; знакома ты можешь быть со всеми; будешь дамой, муж будет служить, а ты будешь веселиться; народятся дети, к этому времени тетка умрет: вот вам и на воспитание их. Чего ж недостает в этом женихе?

– Он очень необразован, папа.

– Нет, необразован быть он не может; разве только неловок, не шаркун; да ведь муж не танцевальный учитель. Это ведь в танцмейстеры да в паяцы выбирают ловких.

Владимир Андреич замолчал. Из всех его рассуждений Юлия поняла, кажется, только то, что папенька непременно решился ее выдать за Бешметева и что теперь он говорит ласково, только убеждает, а потом, пожалуй, начнет кричать и, чего доброго, посадит в монастырь.

– Ну, Марья Ивановна, ты теперь с нею говори, – сказал Владимир Андреич и вышел.

Юлия по уходе отца принялась плакать. Марья Ивановна тоже едва удерживалась.

– Он меня, пожалуй, прогонит, – говорила Юлия, утирая слезы.

– Что мудреного, друг мой? Выходи лучше, Джулинька. Что? Бог милостив.

– Да он мне гадок, тамап.

– Привыкнешь, душа моя, ей-богу, привыкнешь. Этого ведь нельзя наперед сказать; сначала не нравится, а после полюбишь; а иногда и по любви выходят, да после даже ненавидят друг друга. Он добрый человек: по

крайней мере он будет тебе повиноваться, а не ты ему.

– Да, уж если я выйду, – сказала разгневанным голосом Юлия, – так я ему дам знать себя; я ему докажу, что значит жениться насильно. У него пятьдесят душ, тамап?

– Пятьдесят душ, мой ангел.

– Сколько же это доходу?

– Я думаю, тысяч до трех; да еще, я думаю, деньги у них должны быть.

– Все деньги себе буду брать; ему никогда копейки не дам; буду ездить по знакомым, по балам; дома решительно не стану сидеть.

– Да это как ты хочешь... – говорила мать. – Ну, что пользы-то, посуди ты сама: вот я вышла за Владимира Андреича; ну, молодец, умен и богат. Конечно, жила в обществе, зато домашнего-то удовольствия никакого не имела. Решись, мой друг; в наше время в девушках оставаться даже неприлично.

И на это замечание Юлия ничего не отвечала и, казалось, была в раздумье.

– Позвольте мне, тамап, поговорить с сестрой, – сказала она после минутного размышления.

Марья Ивановна вышла в угольную комнату: там сидели Владимир Андреич и Надя.

– Ну, что? – спросил он, увидя жену.

– Она почти согласна, – отвечала Марья Ивановна, – хочет только с сестрой поговорить.

Надя встала и хотела было идти.

– Постой, – сказал Владимир Андреич. – Ты смотри не разбивай сестру; я ведь после узнаю. Ты скажи, что ты бы на ее месте тотчас пошла.

– Да ведь он очень смешон, папа, – возразила блондинка.

– Я тебе за это уши выдеру! Болтунья этакая! – прикрикнул Владимир Андреич.

У блондинки на глазах навернулись слезы.

– Ты должна ей говорить, что ей необходимо выйти замуж, потому что этого хотят родители, а родителей должно уважать, – что папенька, то есть я, рассердится и отдаст в монастырь... ступай!

Блондинка вошла к сестре, которая сидела в задумчивости.

– Меня за тебя, та soeur, прибранил папа, – сказала она, садясь, надувши губы, на диван.

– За что?

– Что ты замуж не выходишь. Выходи, пожалуйста, скорее... Я-то чем виновата? Он и тебя хочет посадить в монастырь.

– Я лишу его этого удовольствия, потому что выйду замуж.

– Я сама бы вышла за кого-нибудь замуж; все бранятся беспрестанно: сегодня третий раз.

– Знаешь, та соеиг, кого мне хочется взбесить, если я выйду замуж?

– Кого?.. Б...?

– Ну да. Ты не знаешь еще, какой он ужасный чело» век. Мне именно хочется выйти замуж, чтоб доказать ему...

– Он славно ездит верхом, – перебила блондинка.

– Конечно, хорошо. А все-таки ужасный человек: ты не знаешь еще всего... Помнишь, как он летом за мной ухаживал? Ну, я думала, что он в самом деле ко мне неравнодушен.

– Ты в него, та соеиг, была ведь очень влюблена, – перебила блондинка, – целые ночи все говорила о нем.

– Ну да, конечно. Но вообрази себе, что он

сделал со мной на обеде у Жарковых: я стою у окна, он подходит ко мне. «Что вы делаете, говорит, на что вы смотрите? Не заветные ли вензеля пишете?» А я и говорю: «Да, заветный вензель». Он говорит: «Напишите при мне». Я думаю, что ж такое? Взяла да и написала его вензель. Он посмотрел на окошко, сделал, знаешь, эту его насмешливую гримасу и отошел. Самолюбие у меня вспыхнуло, и с этих же пор я перестала его замечать. После он очень опять ухаживал: нет, извините, – теперь пусть поймет, что это значит. Я сделаюсь дамой и решительно не буду обращать на него внимания. Он, говорят, дам гораздо больше любит.

Сестры несколько минут молчали.

– Где папенька? – спросила, наконец, брюнетка.

– В угольной: сидит с мама.

– Поди, скажи, что я согласна... – произнесла Юлия Владимировна решительным тоном.

– В самом деле, та soeur? – спросила та.

– В самом деле.

– Я пойду скажу.

– Поди.

– Ты не шутишь?

– Нет.

Наденька постояла еще несколько минут, ожидая, что не откажется ли сестра от своего намерения. Но Юлия Владимировна молчала, и Надя вошла в угольную комнату.

– Сестра согласна, папа, – сказала она, войдя к Владимиру Андреичу.

– И прекрасно! – сказал тот с просветлевшим лицом. – Что ж она сама нейдет?

– Она там, папа.

Владимир Андреич вошел в кабинет.

– Ну что, Джули?

– Я согласна.

– Поцелуй меня, душа моя... нет, поцелуй три раза... в этих торжественных случаях целуются по три раза. Ты теперешним своим поступком очень хорошо зарекомендовала себя: во-первых, ты показала, что ты девушка умная, потому что понимаешь, что тебе говорят, а во-вторых, своим повиновением обнаружила доброе и родителям покорное сердце; а из этих данных наперед можно пророчить, что из тебя выйдет хорошая жена и что ты будешь счастлива в своей семейной жизни.

Юлия хотела поцеловать руку отца, но Владимир Андреич не позволил этого сделать и сам поцеловал ее в лоб.

– Ты посиди здесь, а я переговорю с Феоктистой Саввишной.

Сказав это, Владимир Андреич вышел в угольную и снова уселся на диване. Через четверть часа предстала перед ним и Феоктиста Саввишна.

– Ну что, любезнейшая моя Феоктиста Саввишна? – начал Владимир Андреич. – Так как вы, я думаю, и сами знаете, что дочери моей, с одной стороны, торопиться замуж еще нечего: женихов у ней было и будет; но, принимая во внимание, с другой стороны, что и хорошего человека обегать не следует, а потому я прошу, не угодно ли будет господину Бешметеву завтрашний день самому пожаловать к нам для личных объяснений; и я бы ему кое-что сообщил, и он бы мне объяснил о себе.

– Да верно ли это, батюшка Владимир Андреич? Верно ли это по крайней мере?

– Почти верно.

– Он, признаться сказать, мало надеется и говорил мне: «Я бы, говорит, Феоктиста Сав-

вишна, и сам сделал предложение, да сами посудите, я ведь решительно не знаю, как обо мне разумеют».

– Невеста и все наше семейство разумеют о нем очень хорошо. Вы его ободрите.

– Можно ли, Владимир Андреич, надежду-то ему подать?

– Даже больше чем надежду. Мы хорошего человека никогда не обегали.

Феоктиста Саввишна была почти в восторге. Она очень хорошо поняла, что Владимир Андреич делает эту маленькую проволочку так только, для тону, по своему самолюбивому характеру, и потому, не входя в дальнейшие объяснения, отправилась домой. Ехавши, Феоктиста Саввишна вспомнила, что она еще ничего не слыхала от самого Бешметева и что говорила только его сестра, и та не упоминала ни слова о формальном предложении.

«Что, если он откажется, даже потому только, – подумала она, – что у них к свадьбе ничего не готово?»

Эта мысль сильно беспокоила немного далеко взявшую сваху. Она тотчас было хотела

ехать к Лизавете Васильевне, но было уже довольно поздно, и потому она только написала к ней письмо, содержание которого читатель увидит в следующей главе.

## IX

# Помолвка с предыдущими и последующими ей сценами

Павел ничего не знал о переговорах сестры с Феоктистой Саввишной, и в то самое время, как Владимир Андреич решал его участь, он думал совершенно о другом и был под влиянием совершенно иных впечатлений. Долго не мог он после посещения тетки опомниться. Ему очень было жаль сестры.

«Бедная Лиза, – думал он, – теперь отнимают у тебя и доброе имя, бесславят тебя, взводя нелепые клеветы. Что мне делать? – спрашивал он сам себя. – Не лучше ли передать ей обидных сплетнях? По крайней мере она остережется; но каким образом сказать? Этот предмет так щекотлив! Она никогда не говорит со мною о Бахтиарове. Я передам ей только разговор с теткою», – решил Павел и приехал к сестре.

Но ему, как мы видели, не удалось этого сделать. С расстроенным духом возвратился он домой и целую почти ночь не спал. «Что,

если она его любит, если эти сплетни имеют некоторое основание?» – думал Павел и, сам не желая того, начинал припоминать небольшие странности, которые замечал в обращении сестры с Бахтиаровым.

Так, например, Лизавета Васильевна, не любившая очень карт, часто и даже очень часто садилась около мужа в то время, как тот играл с своим приятелем, и в продолжение целого вечера не сходила с места; или... это было, впрочем, один только раз... она, по обыкновению как бы совершенно не замечавшая Бахтиарова, вдруг осталась с ним вдвоем в гостиной и просидела более часа. Павел в это время под диктовку Масурова переписывал какую-то бумагу в соседней комнате, и когда он вошел, то заметил на лицах обоих собеседников сильное волнение; видно было, что они о чем-то говорили, но при его появлении замолчали, и потом Бахтиаров, чем-то расстроенный, тотчас же уехал, а Лизавета Васильевна, ссылаясь на обыкновенную свою болезнь – головную боль, улеглась в постель.

Размышления Павла были прерваны приездом Лизаветы Васильевны, которая прошла

прямо к нему в комнату. Увидя сестру, он несколько смешался. Ему предстояло рассказать ей все, что говорила тетка; но герою моему, как уже, может быть, успел заметить читатель, всегда было трудно говорить о том, что лежало у него на сердце. Лизавета Васильевна вошла с веселым лицом и, почти ни слова не говоря, подала Павлу какое-то письмо. Бешметев, ничего не подозревая, начал читать и, прочитав, весь растерялся: лицо его приняло такое странное и даже смешное выражение, что Лизавета Васильевна не могла удержаться и расхохоталась.

– Что с тобой, Поль? – проговорила она.

Павел молчал.

Письмо это было от Феоктисты Саввишны, довольно оригинальной орфографии и следующего содержания:

«Почтеннющая Илисавета Васильевна, ни магу выразить, скаким нетерпенем спишу ваз уведомить, што я, пожеланию вашему, вчерас была у В.А., зделала предложение насчет вашего браца к Юли Владимировны, оне поблагородству собственной души незахотят мне зделать неприятности и непреставят

меня лгуньею прид таким прекрасным семейством, сегодняшнего числа в двенацат часов поедут кним знакомитца, там они все узнают, принося мое почтение и цолуя ваших милых детачек остаюсь покорная к услугам Феоктиста Панамарева».

– Я тебе все скажу, – начала Лизавета Васильевна. – Вчера мне пришло в голову попросить Феоктисту Саввишну узнать, как о тебе думают у Кураевых, а она не только что узнала, но даже сделала предложение, и они, как видишь, согласны.

Павел все еще не мог прийти в себя.

– Извольте одеваться и ехать: вас ждут, – продолжала Масурова.

– Но это, должно быть, какая-нибудь болтовня, – возразил, наконец, Бешметев.

– Нечего тут рассуждать, а извольте одеваться и ехать. Константин! Дай барину одеться.

И Лизавета Васильевна вместе с лакеем начали наряжать брата. Герой мой как будто был не совсем в своем уме, по крайней мере решительно не имел ясного сознания и, только одевшись, немного опомнился: уселся на

диван и объявил, что не поедет, потому что Феоктиста Саввишна врунья и что, может быть, все это вздор. Лизавета Васильевна начала терять надежду; но от свахи получено было новое, исполненное отчаяния письмо, в котором она заклинала Павла ехать скорее и умоляла не губить ее. Этот новый толчок и убеждения Лизаветы Васильевны подействовали на Павла как одурающее средство: утратив опять ясное сознание, он сел на дрожки и, не замечая сам того, очутился в передней Кураевых, а потом объявил свое имя лакею, который и не замедлил просить его в гостиную.

Простояв несколько минут на одном месте и видя, что уже нет никакой возможности вернуться назад, Павел быстро пошел по зале; решившись во что бы то ни стало не конфузиться, и действительно, войдя в гостиную, он довольно свободно подошел к Кураеву и произнес обычное: «Честь имею представить-ся».

– Очень приятно, весьма приятно, – перебил Владимир Андреич, взяв гостя за обе руки, – милости прошу садиться... Сюда, на диван.

Павел сел. Владимир Андреич внимательно взглядом осмотрел гостя с головы до ног. Бешметеву начало становиться неловко. Он чувствовал, что ему надобно было что-нибудь заговорить, но ни одна приличная фраза не приходила ему в голову.

– Я знал вашего батюшку и матушку, – начал опять Владимир Андреич. – Мне очень приятно вас видеть у себя в доме. Вы, как слышно, не любитель общества: сидите больше дома, занимаетесь науками.

– Да, я больше бываю дома, – проговорил, наконец, Павел.

– Это очень похвально... Рассеянные молодые люди как-то бывают неспособны к семейной жизни: теряются... заматываются... Конечно... кто говорит? С одной стороны, не должно бегать и людей...

Владимир Андреич остановился с тем, чтобы дать возможность заговорить своему собеседнику; но Павел молчал.

«Уж чересчур неговорлив: видно, самому придется начать», – подумал Владимир Андреич и начал:

– Вчерашний день Феоктиста Саввишна...

Здесь опять он замолчал и остановился в ожидании, не перебьет ли его речь Бешметев; но тот сидел, потупившись, и при последних словах его весь вспыхнул.

– Через Феоктисту Саввишну, – продолжал Владимир Андреич, – угодно было вам сделать нам честь... искать руки нашей старшей дочери.

– Я был бы очень счастлив... – проговорил, наконец, Павел.

– Очень верю и благодарю вас за это, – возразил Владимир Андреич, – но позвольте мне с вами говорить откровенно: участь ваша совершенно зависит от выбора дочери, которой волю мы не смеем стеснять. Очень естественно, и в чем я даже почти уверен, что она, руководствуясь своим сердцем, согласна. Но мы, старики-родители, на эти вещи смотрим иначе: во-первых, нам кажется, что дочь наша еще молода, нам как-то страшно отпустить ее в чужие руки, и очень естественно, что нас беспокоит, как она будет жить? Любовь – сама по себе, а средства жизненные – сами по себе, и поэтому, изъявляя наше согласие, нам, по крайней мере для собственного спокой-

ствия, хотелось бы знать, что она, будучи награждена от нас по нашим силам, идет тоже не на бедность; и потому позвольте узнать ваше состояние?

– У меня пятьдесят душ.

– Чистые?

– Чистые-с.

– И деньги есть?

– Есть небольшие.

– Примерно – сколько?

– Тысяч пять.

– Стало быть, после старика-батюшки ничего еще не продано, не заложено и не истрачено?

– Нет, ничего-с.

– Благодарю вас за откровенность; я, признаться сказать... вы извините меня; теперь, конечно, прошлое дело, – я, признаться, как-то не решался... мало даже советовал... но, заметя ее собственное желание... счел себя не вправе противоречить; голос ее сердца в этом случае старше всех... у нее были прежде, даже и теперь много есть женихов – очень настоятельных искателей; но что ж делать? не нравятся... Так богу угодно... Родством своим я

могу похвастать: вот вы, когда войдете в наше семейство, увидите сами, и надеюсь, что вы любовью своею и уважением вознаградите нас за нашу в этом случае жертву... Сейчас я приглашу жену... Марья Ивановна!

Марья Ивановна вошла и, жеманно поклонившись Павлу, села на ближайшее кресло.

– Павел Васильич, – начал Кураев, – делает честь нашему семейству и просит руки Юлии. Я говорил им, что это зависит от нее самой.

– Конечно, это зависит совершенно от ее желания, – отвечала Марья Ивановна.

– Нынче на брак, – подхватил Владимир Андреич, – не так уже смотрят, как прежде: тогда, бывало, невест и связанных венчали. Мы это себе уж не позволим сделать.

– Как можно? Мы этого никогда не позволим себе сделать, – подтвердила Марья Ивановна.

– Позовите же Юлию.

Марья Ивановна вышла и скоро возвратилась с Юлией.

– Подойди сюда поближе, Джули, – начал Владимир Андреич. – Павел Васильевич делает тебе честь и просит твоей руки, на что ты

вчерашний день некоторым образом и изъясвила уже твое согласие. Повтори теперь твои слова.

Юлия, с бледным лицом, с висящими на ресницах слезами, тихо проговорила:

– Я согласна.

Павел, кажется, ничего не слышал, ничего не понимал; он стоял, потупившись, как бы не смея ни на кого взглянуть, и только опомнился, когда Владимир Андреич сказал ему, подавая руку дочери:

– Примите, Павел Васильич, и, как водится, поцелуйте.

Бешметев схватил руку и поцеловал. Он чувствовал, как рука невесты дрожала в его руке, и, взглянув, наконец, на нее, увидел на глазах ее слезы! Как хороша показалась она ему с своим печальным лицом! Как жаль ему было видеть ее слезы! Он готов был броситься перед ней на колени, молить ее не плакать, потому что намерен посвятить всю свою жизнь для ее счастья и спокойствия; но он ничего этого не сказал и только тяжело вздохнул.

– Как вы думаете насчет сговора, Павел Ва-

сильич? – спросил Владимир Андреич.

– Я не знаю.

– Не угодно ли вам сегодня?

– Очень рад.

– И прекрасно! Священник готов.

Все вошли в залу.

Священник был действительно готов и сидел около образов. При появлении Кураевых он указал молча жениху и невесте их места. Павел и Юлия стали рядом, но довольно далеко друг от друга; Владимир Андреич, Марья Ивановна и Наденька молились. Несколько горничных девок выглядывало из коридора, чтобы посмотреть на церемонию и на жениха; насчет последнего сделано было ими несколько замечаний.

– Ой, какой нехороший! – говорила бело-брыся девка.

– Нехорош и есть, девонька, – подхватила женщина с сердитым лицом.

– Лицо-то какое широкое! – заметила девчонка лет тринадцати.

– Постойте, чертовки, дайте-ко посмотреть, – говорила, продираясь сквозь толпу, прачка. – Ах, какой славный! Красавец!

Горничные потихоньку засмеялись над простодушием прачки. Лакеи тоже выдвинулись из лакейской, но они стояли молча; только один из них, лет шестидесяти старик, в длинном замасленном сюртуке и в белых воротничках, клал беспрестанно земные поклоны и потихоньку подтягивал дьячку. Церемония кончилась.

– Шампанского! – закричал Владимир Андреич.

Но шампанское что-то долго не подавалось. В буфете вышел спор. Старик в белых воротничках никому не хотел уступить честь разносить.

– Полно, старый хрен: разобьешь, ведь оно двенадцать рублей, – говорил молодой лакей, отнимая у старика поднос.

– Ах ты, молокосос! Давно ли был ты свинопасом-то? Туда же, учить... Анна Семеновна, разлей, матушка, напиток-то, – говорил старый лакей, не давая подноса и обращаясь к ключнице.

– Не тронь, Сеня, его, – говорила та и разлила вино.

Спиридон Спиридоныч (так звали старика)

с довольным лицом вынес шампанское в залу. Он шел очень модно, как следует старинному лакею.

– Разве там других нет? – спросил Кураев, недовольный тем, что перед женихом явился лакей в замасленном сюртуке.

– Извините, батюшка Владимир Андреич, – отвечал старик, – по собственному моему расположению я отнял у Семена: молоденок еще.

– Это слуга моего отца, – сказал Кураев, обращаясь к Павлу, – и по сию пору большой охотник до всех церемоний. Батюшка жил барином.

– Блаженной памяти Андрей Михайлыч, – отвечал старик, – изволили меня любить и имели всегда большие празднества: нас по трое за каретой ездило.

– Довольно. Подавай, – проговорил Владимир Андреич.

Начались поздравления. Первый поздравил жениха и невесту сам хозяин, потом Марья Ивановна, потом Наденька и, наконец, священник.

– Осмелюсь, батюшка Владимир Андреич, – заговорил опять Спиридон, – и я про-

здравить от моей персоны.

Все захохотали, даже Павел улыбнулся.

– Ну, поздравь, – сказал Владимир Андреич, – да, знаешь, повысокопарнее, своим слогом...

– По недоразумению моему готов: честь имею вас проздравить, батюшка Владимир Андреич, и честь имею вас проздравить, благодетельница наша Марья Ивановна. Проздравление мое приношу вам, Надежда Владимировна, – говорил он, подходя к руке барина, барыни и барышни, – а вам и выразить, не могу, – отнесся он к невесте. – А вам осмеливаюсь только кланяться и возносить за вас молитвы к богу, – заключил он, обращаясь к жениху, и раскланялся перед ним, шаркнувши обеими ногами.

– Позови же и других, – сказал Владимир Андреич, желая перед зятем похвастать количеством дворни.

– Не молоденьки ли еще, батюшка Владимир Андреич? – заметил Спиридон, видно, не желавший, чтобы прочая прислуга удостоилась чести поздравления.

– Нет, позови, – повторил Кураев. – Преумо-

рительный старик! – продолжал он, когда Спиридон вышел. – Впрочем, довольно еще здоровый: больше делает у меня молодых-то.

– Какое, папа, больше делает, ничего не может делать, – перебила блондинка.

Владимир Андреич значительно посмотрел на дочь.

– Он преусердный, престарательный, – заметила Марья Ивановна, вторя мужу.

Между тем Спиридон Спиридоныч прошел в девичью.

– Ступайте вы, егозы: проздравьте господ-то!

– Да что, приказано, что ли? – спросила баба с сердитым лицом.

– Приказано не приказано, а порядок такой. Эх вы, необразованные! Смотрите, хорошенько поцелуйте у всех руки.

– Спиридон Спиридоныч, поучи-ко, как поздравить-то, – сказала с насмешкою молоденькая горничная, очень хорошенькая собой, так что в нее был, говорят, влюблен какой-то поручик.

– Ну, как проздравлять! – отвечал Спиридон Спиридоныч, очень довольный тем, что у

него просят советов. – Известно как: имею-де счастье обличить вам свое поздравление.

Научивши таким образом, старый лакей прошел в лакейскую и там велел идти к поздравлению.

В залу начала входить целая гурьба горничных, с различными лицами и талиями. Все начали подходить сначала к руке жениха и невесты, а потом к Владимиру Андреичу, Марье Ивановне и Наденьке. Молодые свои поздравления бормотали сквозь зубы и улыбались, но старые говорили ясно и с серьезными лицами. Спиридон Спиридоныч и в этот раз не утерпел, чтоб не поздравить еще: он подошел к жениху, говоря: «Честь имею еще раз кланяться!» – поцеловал руку и шепнул ему на ухо: «Я, батюшка, иду в приданое за Юлией Владимировной». Павел хотел было дать ему денег, а вместе с тем вспомнил, что и всем следовало бы дать; но денег с ним не было; это еще более его сконфузило.

Наконец, поздравления кончились, и скоро сели за стол. Жениха и невесту поместили, как следует, рядом, но они в продолжение целого обеда не сказали друг другу ни слова.

Юлия сидела с печальным лицом и закутавшись в шаль. Что же касается до Павла, то выражение лица его если не было смешно, то, ей-богу, было очень странно. Он несвязно и отрывисто отвечал Владимиру Андреичу, беспрестанно вызывавшему его на разговор, взглядывал иногда на невесту, в намерении заговорить с ней, но, видно, ни одна приличная фраза не приходила ему в голову. Блондинка нехотя рассказывала матери, что поутру их поваренок очень больно треснул чью-то чужую собаку, зашедшую в кухню ради ремонта, так что та, бедная, с полчаса бегала, поджавши хвост, кругом по двору, визжала и лизала, для уврачевания, расшибленный свой бок. Вообще всем как-то было неловка.

После обеда Павел хотел ехать домой, но Владимир Андреич не отпустил. К вечеру невеста сделалась внимательнее к Павлу: она получила от папеньки выговор за то, что была неласкова с женихом, и обязана была впредь, особенно при посторонних людях, как можно больше обнаруживать чувства любви и не слишком хмуриться. Часу в восьмом съехались друзья Владимира Андреича:

откупщик, председатель уголовной палаты, статский советник Коротаев, одним словом, тузы губернские. Пошли новые поздравления. Павел очень конфузился, невеста делала над собою видимое усилие, чтобы казаться веселою. Скоро гости уселись за карты. Юлия подошла, села около жениха и начала с ним разговор.

– Вы не любите играть в карты?

– Нет-с, не люблю.

– А я так очень люблю... я умею даже в штос... Меня выучил один мой cousin[10]; он теперь, говорят, совсем проигрался.

Павел ничего не отвечал; разговор прервался.

– А вы где до сих пор жили? – заговорила опять Юлия.

– Я жил в Москве.

– Что ж вы там делали?

– Я учился в университете.

– Учились? Который же вам год?

– Двадцать второй.

– Зачем же вы так долго учились?

– У нас велик курс: я был четыре года в гимназии да четыре в университете.

– Сколько же вы времени учились?

– Восемь лет.

– Как долго!.. Вам, я думаю, очень наскучило. Я всего два года была в пансионе, и то каждый день плакала.

– Я не скучал.

Разговор опять прервался.

– Я здесь не думал остаться, – начал Павел после продолжительного молчания.

– Зачем же остались?

Читатель, конечно, согласится, что на этот вопрос Павлу следовало бы отвечать таким образом: «Я остался потому, что встретил вас, что вы явились передо мною каким-то видением, которое сказала мне: останься, и я...» и проч., как сказал бы, конечно, всякий молодой человек, понимающий обращение с дамами. Но Павел если и чувствовал, что надобно было сказать нечто вроде этого, проговорил только:

– Я остался по обстоятельствам.

– Напрасно. В Москве, я думаю, веселей здешнего жить.

И здесь опять следовало Павлу объяснить, что ему теперь в этом городе веселее, чем во

всей вселенной; но он даже ничего не сказал и только в следующее затем довольно продолжительное молчание робко взглядывал на Юлию. Она вздохнула.

– Вы так печальны! – едва слышным голосом проговорил Бешметев.

– На моем месте каждая была бы грустна.

– Отчего же?

Невеста отвечала только горькою улыбкою.

Вечер кончился. При прощании Юлия сказала жениху довольно громко, так что все слышали:

– Жду вас завтра.

Павел вышел от Кураевых в каком-то тревожном и полусознательном состоянии. Приехав домой, он с несоответственной ему быстротою вбежал, не снимая шинели, к матери и бросился обнимать старуху.

– Матушка! Я женюсь, – повторял он несколько раз.

Но больная не отвечала ничего на ласки сына и, кажется, ничего не понимала, хотя он и старался в продолжение получаса втолковать ей, что он нашел невесту, сговорился и

теперь счастлив. Старуха ничего не отвечала и только крестила его, глядя на него каким-то грустным взором. Он вышел от матери и лег на постель. Но, видно, ему не спалось и, кажется, очень хотелось поделиться с кем-нибудь своими ощущениями, потому что он велел было закладывать себе лошадь, но, не дождавшись ее, пошел пешком к сестре. Пройдя несколько переулков, он задохнулся и принужден был остановиться.

«Не спит ли сестра? Теперь уже поздно, – подумал он. – Конечно, спит. Досадно... ей-богу, досадно!.. Как бы мне хотелось ее видеть! Не обязаны же все не спать ночи, потому что нам не спится. Она, я думаю, никак не ожидает, что со мной случилось. Впрочем, я лучше завтра к ней пойду!»

Проговоря это, Павел пошел обратно домой. Возвратившись к себе в комнату и снова улегшись на постель, он не утерпел и сказал раздевавшему его лакею:

– Константин, ты слышал? Я женюсь.

– Слышал-с. Хороша ли невеста-то, Павел Васильич?

– Хороша.

– И крестьяне есть?

– Есть. Я и тебе невесту приведу, и ты женишься.

– Коли ваша милость, Павел Васильич, будет, я не прочь.

# Х

## Опять всякая всячина

На другой день Павел проснулся часу в двенадцатом, потому что с вечера раздумался и заснул только на утре. Различные мысли без всякого порядка приходили ему в голову в продолжение целой ночи; то представлялся ему добрый Владимир Андреич, так обласкавший его (Владимир Андреич показался Павлу очень добрым), то невеста – девушка, от которой он еще поутру был так далек, которой почти не надеялся никогда видеть, но вдруг не только видел ее, но сидел с нею, говорил: она невеста его, она, говорят, влюблена в него, и недели через две, как объявил уже Владимир Андреич, она сделается его женою. Не похоже ли все это на сон?

Он с восторгом помышлял, что завтрашний день опять увидит брюнетку, будет видеть каждый день, может быть, найдет случай сказать ей, как он ее давно любит, может быть она сама ему признается в том. «Как-то она об этом скажет? Я думаю, вся вспыхнет, и

как будет она хороша в эту минуту». Но нет, я решительно не в состоянии проследить все то, что Павел перемечтал о своей невесте, о ее возвышенных чувствах, о взаимной любви, одним словом, о всех тех наслаждениях, которые представляет человеку любовь и которых, впрочем, мой герой еще хорошо не знал, но смутно предполагал. Самая прекрасная будущность представлялась ему: вот он теперь женится, выпишет из Москвы книг, будет заниматься; выдержит экзамен, сделается профессором; весь погрузится в пауку. Боже мой! Что может быть лучше этого? – счастье в домашней жизни, слава в публике.

Проснувшись, Павлу очень не хотелось вставать; ночные мечтания снова начали овладевать его воображением. Он лежал, повернувшись к стене, как вдруг почувствовал, что с него сдернули одеяло. Бешметев обернулся: перед ним стоял Масуров.

– Здравия желаем, господин жених! – вскричал гость. – Разве так долго спят? Какую вы, батенька, выкинули штуку! Славно, право, славно... я сегодня только узнал. Вставайте да давайте шампанское пить!

Павел, несколько сконфузившись, торопился надевать халат и спальные сапоги.

– Фу ты, канальство, какая пышная фигура! – говорил Масуров.

– Что сестра?

– Чего сестра? Еще вчера ночью уехала в деревню. Такая досада, что ужас; ну, сами посудите, зачем теперь в деревню ехать?

– Зачем же она уехала? – спросил Павел, удивленный и озабоченный этим известием.

– Бог ее знает; вчера приступила, чтобы я не был знаком с Бахтиаровым. «Это, говорит, неприлично; я молодая женщина, в обществе могут перетолковать»; черт знает какая чушь пришла в голову! Очень мне нужно, что болтают там сороки.

Павел очень хорошо понял причину нечаянного отъезда сестры: видно, она была у тетки, а та передала ей по-своему все сплетни.

Вот теперь он один. Ему даже не с кем посоветоваться в столь важное для него время; но, размыслив, что это почти необходимо для Лизаветы Васильевны, потому что только этим одним могли прекратиться городские толки насчет ее отношений к Бахтиарову, он

был рад ее отъезду.

– Надолго ли же Лиза уехала? – спросил он.

– Право, не знаю; и детей увезла, – скука смертная! Сегодня всю ночь не спал. Досадно, ей-богу, смерть досадно. Напишите, пожалуйста, братец, ей письмо; что это за глупости? Сегодня уж Перепетуе Петровне на нее жаловался. Ну, батюшка, как она на вас сердится! Так просто, я вам скажу, и не ходите лучше: высечет. От нее я и узнал, что ваша милость женится на Кураевой. Важнительно! Очаровательная, черт возьми, девушка. Тетка всех пушит: и вас, и Лизу, и Кураевых со всем их потрохом. С Феоктистой Саввишной, за сватанье, такую при мне пановщину сочинила, что я хотел послать за кварталным; ругательски разругались... Меня только хвалит: на днях денег хотела дать займы. Вы лучше не ходите; ей-богу, если не высечет, так непременно прибьет, «и на свадьбу, говорит, не поеду; знать их не буду, на нищей, говорит, женится, по миру пойдут». Когда у вас свадьба-то?

– Скоро.

– Меня в шафера возьмите.

– Извольте.

– Смотрите же. А я новый фрак себе шью: вчера пятьсот рублей выиграл у Бахтиарова. У вас есть ли деньги-то на свадьбу? А то я, пожалуй, дам займы. Какой славный малый Бахтиаров! Чудо просто, а не человек! От вас просто он в восторге. Напишите, пожалуйста, Лизе-то, чтобы приехала; меня-то она не слушает. Прощайте. Я сегодня вечером приеду к Кураеву; я, правда, с ним мало знаком, да ничего: так, мол, и так... честь имеют рекомендоваться. Влюблена в вас невеста?

– Я не знаю.

– Кто же знает? Славная вам будет теперь жизнь! Прощайте. Мне надобно еще к Бахтиарову. К матушке не заходить? Отчего она меня никогда не узнает?

– Оттого, что вы редко бываете.

– Некогда, братец, ей-богу, некогда; прощайте, напишите к Лизе-то; я нарочно за этим приезжал к вам. Прощайте, вечером увидимся.

По отъезде Масурова Павел начал одеваться. Туалетом своим в этот раз он занимался еще более, чем перед поездкою в собрание; раз пять заставлял он цирюльника переви-

вать свои волосы, и все-таки остался недоволен. Фрак свой он назвал мерзейшим фракком, а про жилет и говорить нечего; даже самого себя Павел назвал неопрятным дураком, который в Москве не умел завестись порядочным платьем. Часу в двенадцатом он был готов; но доложили о приезде Владимира Андреича. Павел сконфузился: ему совестно было принять будущего тестя в своем доме, который, конечно, ни в каком отношении не мог равняться с аристократическим домом Кураевых, и поэтому он встретил гостя с озабоченным лицом. Что касается до Владимира Андреича, то он вошел, как надобно было ожидать, с прилично-важным видом. Сначала объявил, что он желал сам быть у него, с тем чтобы поклониться ему от всего своего семейства, и по преимуществу от невесты, которая будто бы уже ожидает его с восьми часов утра, а потом, спрося Павла о матери и услышав, что она заснула, умолял не беспокоить ее, а вслед за тем он заговорил и о других предметах, коснувшись слегка того, что у него дорогой зашалила необыкновенно злая в упряжке пристяжная, и незаметно перешел к

дому Павла (у Бешметева был свой дом).

– Теплый должен быть домик, – заметил Владимир Андреич, – впрочем, все-таки вам надобно сделать небольшие поправки. Вы извините меня: я, по праву будущего тестя, желал бы дать вам в этом отношении маленький совет.

– Мне очень приятно, – отвечал Павел.

– Иначе я и не думаю. Я советовал бы вам, так как уже теперь штукатурить некогда, попросту обить французскими обоями: это будет недорого и красиво.

– Я сделаю.

– Да... ну, уж и мебель надобно другую. После покойного Калинина продается отличнейшая мебель, решительно за безделицу: отдадут за какие-нибудь рублей девятьсот, на две комнаты – на спальную и гостиную. В первой вся мебель без дерева, обита малиновым бараканом, с черными стальными пуговицами: прелесть, просто прелесть! подушки все эластик, и эластик-то невероятный; красного дерева трюмо с двумя бронзовыми бра, необыкновенного искусства; а для гостиной все орех, самой утонченной нежности в рабо-

те.

И на этот совет Владимира Андреича Павел согласился и объявил, что готов купить, с большим даже удовольствием. Кураев также поинтересовался узнать, каковы у Павла экипажи, и так тонко довел разговор, что Бешметев сам пригласил будущего тестя в сарай и конюшню. Здесь Кураев учтиво раскритиковал пару карих лошадей, желтую коляску, дрожки с разбитыми колесами и даже двое городские сани, о которых с такою похвалою отзывалась Перепетуя Петровна. По его словам, у всякого порядочного человека должно быть не более трех экипажей, но только чтоб они были в своем виде, а именно, нужно всего только: парную карету для выезда жены по парадным визитам и на балы, пролетки собственно для себя и хорошенькие городские парные сани, да три лошади: две чтобы были съезжены парою у дышла, а одна ходила в одиночке. Павел с этим вполне согласился и объявил, что он готов бы все это сейчас купить, но только не знает где. Оказалось, что Владимир Андреич знает, где все это можно приобрести по самой умеренной цене: дву-

местная карета, например, продается у того же покойного Калинина, на венском ходу и с кузовом петербургской работы, и продается за какие-нибудь ничтожные полторы тысячи рублей. Лошадей он советовал купить на заводе у Киркина, у которого лошади, при чистоте во всех статьях, необыкновенно добродравны и крепки в езде. Говоря таким образом, Кураев и Павел возвратились в комнаты.

– Свадьба такое дело, – продолжал Владимир Андреич, – что тут каждый человек, начиная с самого себя, обновляется во всем, вступает некоторым образом в другую сферу и запасается уже на новую жизнь. Возьмите даже в пример мужика: и тот для свадьбы делает синий армяк; для этого случая даже занять не стыдно, потому случай экстренный. Даже у древних греков, как известно по описаниям, устраивались свадебные пиршества и празднования, потому что тут человек хочет показать себя обществу в самом приличном виде. Вот, с пустого взять, как семейная-то жизнь далеко не походит на жизнь холостого человека. Вот, например, взять с посуды, тарелок, мисок, плошек и тому подобной

дряни... пустяки... а все деньги, всем надобно завестись; хорошо у кого много, а у другого молодого человека ничего этого нет. Вот у вас так, я думаю, после батюшки много этогохлама осталось?

– У нас этого очень много, – отвечал Павел.

– Я припоминаю, что у покойного Василья Петровича видел вазу серебряную, что ли, или поднос, или самовар, но только удивительно древней работы рококо.

– Это, верно, вы стопку видели.

– Нет, не стопку, а что-то такое вроде бокала, что ли? Решительно не помню. Сами посудите: может быть, тому уже несколько лет; помню только, что видел преинтересную большую серебряную вещь. У вас есть серебряро?

– Есть.

– Перечислите, пожалуйста, покрупнее вещи: мне очень хочется припомнить.

– Стопка серебряная.

– Нет.

– Поднос, кофейник, чайник.

– Нет, не то.

– Корзинка, два большие бокала. – Павел

остановился.

– Ну-с!

– Все-с.

– Все? Серебра больше нет?

– Есть еще ложки и ножи.

– Ну, да этих, я думаю, много у вас.

– Я, право, и не знаю; ложек, кажется, дюжину с семь есть.

– Ну так, стало быть, это я действительно корзинку видел.

– Может быть.

– Позвольте мне ее видеть. Признаться сказать, я очень люблю античные вещи.

Павел хотел было идти за корзинкой; но Владимир Андреич был столько вежлив, что не позволил ему этого сделать и просил его просто подвести к шкафу, где хранилось серебро. Павел провел своего гостя в угольную комнату и представил ему на рассмотрение два огромные стеклянные шкафа с серебром, фарфором и хрусталем.

Владимир Андреич, кажется, весьма остался доволен тем, что видел. Серебра было, с придачей ложек и ножей, по крайней мере с пуд; а про фарфор и хрусталь и говорить нече-

го. Возвратившись в гостиную, Владимир Андреич продолжал разговор с свойственной ему тонкостью; выспросил у Павла, в каком уезде у него имение, есть ли усадьба и чем занимаются мужики. Услышав, что мужики по большей части обручники и стекольщики и что они ходят по летам в Петербург и Москву, он очень справедливо заметил, что подобное имение, с одной стороны, спокойнее для хозяев, но зато менее выгодно, потому, что на чужой стороне народ балуется и привыкает пить чай и что от этого убывает народонаселение и значительно портится нравственность. Наконец он начал прощаться, изъявив предварительно искреннее свое сожаление о том, что не видал старушки, и поручил ей передать свое глубочайшее уважение, и потом, объявив Павлу, что его ожидают через полчаса, сел молодцевато на дрожки. Сердитая пристяжная варварски согнулась, а коренная с места же пошла крупной рысью.

Когда Владимир Андреич уехал, Павел несколько минут думал об нем. «Какой он умный, практический человек! – говорил он сам с собою. – Он будет мне очень полезен своими

советами. Боже мой! Думал ли я когда-нибудь об этаким счастье: женюсь на девушке, в которую страстно влюблен; вступаю в умное, образованное семейство? Как досадно, что нет теперь Лизы здесь? Как бы она порадовалась со мною! Чудная она женщина!» Когда Павел вспомнил о сестре, ему сделалось как-то грустно, и он с нетерпением начал поглядывать на часы: до назначенного Владимиром Андреичем срока оставалось еще с час... Тут Бешметеву пришло в голову, что до свадьбы осталось очень немного: нужно торопиться делать закупки и надобно скорее взять из приказа пять тысяч. Решившись исполнить это, он пришел к матери и начал ей толковать, что ему нужны деньги и чтобы она дала ему билет. Старуха опять, кажется, не вполне поняла, в чем дело, Впрочем, подала сыну ключ, перекрестила его и поцеловала в лоб.

Между тем Владимир Андреич заехал к Перепетуе Петровне, но хозяйки не было дома. Кураев велел к себе вызвать кого-нибудь поумнее из людей. На зов его явилась Пелагея.

– Скажи, любезная, – начал Владимир Ан-

дreich, – Перепетуе Петровне, что приезжал Кураев, будущий ее родственник, и что-де очень сожалеет, что не застал их дома, и что на днях сам опять заедет и пришлет рекомендоваться все свое семейство, которое все ее очень уважает. Ну, прощай; не переври же!

От Перепетуи Петровны Кураев поехал к Феоктисте Саввишне, которую застал дома.

– Здравствуйте, моя любезнейшая Феоктиста Саввишна! Во-первых, позвольте поцеловать вашу ручку и передать вам низкий поклон от наших.

Феоктиста Саввишна сильно переполошилась от приезда почтенного Владимира Андреича и его ласкового обращения; она выбежала в девичью, заказала в один раз «для дорогого гостя» чай, кофе и закуску, а потом, накинув на обнаженные спои плечи какой-то платок и вышед к Кураеву, начала перед ним извиняться, что она принимает его не так, как следует.

Владимир Андреич говорил, что ничего, чтобы не беспокоилась, а потом объявил, что он был сейчас у Бешметева, в котором нашел прекраснейшего и благороднейшего челове-

ка, но что он, то есть Бешметев, еще немного молод и, как видно, в свадебных делах совершенно неопытен и даже вряд ли знает обычай дарить невесту вещами, материю на платье и тому подобными безделушками, но что ему самому, Владимиру Андреичу, говорить об этом было как-то неловко: пожалуй, еще покажется жадностью, а порядок справить для общества необходимо.

Догадливая Феоктиста Саввишна тотчас поняла, в чем дело.

– Что это, батюшка Владимир Андреич? Да я-то на что? Худа ли, хороша ли, все-таки сваха. В этом-то теперь и состоит мое дело, чтобы все было прилично: на родных-то нечего надеяться. Перепетуя Петровна вышла гадкая женщина, просто ехидная: я только говорить не хочу, а много я обид приняла за мое что называется расположение.

– Так уж вы, пожалуйста, – начал Владимир Андреич, – знаете... эдак слегка замечайте ему: вот то-то, это-то необходимо. Вот, например, фермуар нужно подарить невесте, какие-нибудь браслеты, не для себя, знаете, а больше для общества: в обществе-то чтоб зна-

ли. Прощайте, матушка.

– Почтеннейший Владимир Андреич! Да покушайте чего-нибудь, хоть бы кофейку или бы водочки выкушали: ведь свежо на дворе-то.

– Не могу, ей-богу, не могу; вы ведь, я думаю, знаете: до обеда не пью, не ем. Прощайте.

Павел ехал к Кураевым в этот раз с большим присутствием духа; он дал себе слово быть как можно разговорчивее с невестою и постараться с ней сблизиться. Он даже придумал, что с ней говорить; он расскажет ей, что видел сон, а именно: будто бы он живет в Москве, на такой-то улице, в таком-то доме, а против этого дома другой, большой желтый каменный дом; вот он смотрит на него; вдруг выходит девушка, чудная, прекрасная девушка; ему очень хотелось к ней подойти, но он не решался и только каждый день все смотрел на эту девушку; потом вдруг не стал ее видеть. Юлия, конечно, догадается, что эта девушка она сама; таким образом он даст ей знать, что он еще в Москве в нее был влюблен; все это думал Павел, ехав дорогой; но,

войдя в гостиную, где сидели дамы, опять сконфузился.

Марья Ивановна сказала ему, что они давно уже его ожидают, а невеста сухо поклонилась; Павел сел поодаль. Владимир Андреич был в кабинете; разговор не вязался, хотя Марья Ивановна несколько раз и начинала: спросила Павла о матери, заметила, что сыра погода и что поэтому у Юлии очень голова болит, да и у ней самой начинает разбалчиваться. Юлия молчала. Наденька играла с собачкою. Павел, несмотря на свое желание заговорить, решительно не находился; ему очень хотелось сесть рядом с Юлией, но у него не доставало даже смелости глядеть ей в лицо, и он, потупя глаза, довольствовался только тем, что любовался ее стройною ножкой, кокетливо выглядывавшей из-под платья.

Пришел Владимир Андреич.

– Ах! Вы здесь, – сказал он, увидя Павла, и пожал ему руку; потом велел подавать горячее.

– Ну что, где вы побывали? – продолжал он.

– Я был в приказе, – отвечал Павел.

– Это зачем?

– Деньги получал.

– А!.. – произнес протяжно Владимир Андреич. – А много ли получили?

– Пять тысяч.

– Славно... что ж, вы закупки думаете делать?

– Да-с, но я не знаю, где и как...

– Об этом хлопотать нечего; я сам, пожалуй, с вами поеду; вот после обеда же и поедем. Давайте скорее обедать! Вы уж, Юлия Владимировна, извините нас! Мы у вас опять жениха увезем, нельзя; бог даст, женитесь, так все будет сидеть около вас. Что, покраснела? Ну, поди, поцелуй же меня за это.

Юлия молча и с несколько сердитым лицом подошла и поцеловала ласкового папеньку.

За столом занимал всех разговорами, как и прежде, Владимир Андреич. Он рассказывал Павлу об одном богатом обеде, данном от дворянства какому-то важному человеку, и что он в означенном обеде, по его словам, был выбран главным распорядителем и исполнил свое дело очень недурно, так что важный че-

ловек после обеда расцеловал его. К концу стола Павлу подали письмо. Эта была записка от Феокисты Саввишны, следующего содержания и уже известной ее орфографии:

«Мильастивеющий Государь  
Павил Василич!

Сичас я была у ваши маминке и ваз састатни магла, вы, верна, нахотетес у сваи дарагии нивезты, и патаму рашьяюсь писать квам, у атной знакомой моеи Аграфены Матъвевны Салъубиевой продаютца по самой дешовой цене расные дамъскийи украшения, брислет, фармуар и два кольца, и неугодно ли вам повашим в сем опстоятельствам их купит для вашии Юли Владимировны, я могу их привезти когда ежели назъначете, вождъянии приятнава вашего гли миня атвас отъвета остаюс пакорноя куслугам  
Фиктиста Панамарева».

Вышед из-за стола, Павел написал Феокисте Саввишне ответ, в котором благодарил ее за беспокойство и просил привезти к нему вещи на другой день, а потом тотчас же вместе

с Владимиром Андреичем отправился делать покупки. Более достопримечательного в этот день ничего не случилось. Павел проездил с Владимиром Андреичем до девяти часов и, возвратившись, услышал, что у Юлии сильно болит голова, а потому она теперь лежит в постеле. Марья Ивановна взяла шерстяную косынку, а Наденька читала какой-то французский роман. Владимир Андреич, услышав о болезни дочери, прошел в комнату к барышням и, через несколько минут вернувшись, предложил Павлу, не угодно ли ему поглядеть невесту. Павел без сомнения согласился и с трепещущим сердцем пошел за Владимиром Андреичем по темному коридору, ведущему в комнату к барышням.

Странное, обаятельное впечатление производит на нас, в пору молодости, комната всякой молоденькой девушки, и, особенно комната той, в которую мы влюблены. Доказательством тому может служить значительное число стихотворений, написанных собственно по этому предмету. Один модный когда-то поэт сказал, что воздух в комнате девушки напоен девственным дыханием. Когда Павел

вошел в комнату, то почувствовал, кроме девственного дыхания, сильный запах л'о-де-ко-лоном, которым Юлия примачивала голову. Боже мой! Нет, я откажусь... слабому перу моему не выразить того, что чувствовал Павел. Юлия лежала на постеле, в широкой блузе, приникнув повязанною головою к батист-декосовой подушке. Напротив самой постели стояло зеркало с комодом, на комодке стояли в футляре часы, две склянки с духами, маленький портфель для писем, колокольчик, гипсовый амур, грозящий пальчиком, и много еще различных кабинетных вещей; у окна стояли вольтеровские кресла и небольшой столик, оклеенный вырезным деревом, а у противоположной стены помещалась кровать Наденьки, покрытая шелковым одеялом и тоже с батист-декосовыми подушками. Чудно хорошо показалось все это Павлу.

– Ну, вот тебе и Павел Васильич! – сказал Владимир Андреич, войдя в комнату дочери. – Посидимте-ка здесь, садитесь на вольтерово-то кресло, а я усядусь на кровать.

– Вы больны? – проговорил Павел едва слышным голосом.

– Да, у меня очень голова болит.

У Бешметева было такое печальное лицо, что это даже заметил Владимир Андреич.

– Посмотри, Джули, он чуть не плачет. Ничего, молодой человек, не теряйте присутствия духа; к свадьбе выздоровеет. Садитесь; что же вы не садитесь.

Павел сел и молча продолжал глядеть на невесту.

– Вы долго не приезжали, – проговорила Юлия, заметив, что папенька кидает на нее значительные взгляды.

– Мы были во многих местах, – отвечал Павел.

– Лучше скажите, что мы купили на две тысячи. Да-с, Юлия Владимировна, вот как-вы мы! Вы только лежите, а мы, черт возьми, мужчины, народ деятельный.

– Я бы сама умела покупать, – отвечала Юлия, – покупать очень весело.

– Видишь, какая храбрая... а что, голова болит?

– Болит, папа.

– Хочешь, я тебе лекарство скажу?

– Скажите.

– Поцелуй жениха, сейчас пройдет; не так ли, Павел Васильич?

– Что это, папа? – сказала Юлия.

Павел покраснел.

– Непременно пройдет. Ну те-ка, Павел Васильич, лечите невесту; смелей.

Он взял Павла за руку и поднял со стула.

– Поцелуй, Юлия: с женихом-то и надобно целоваться.

Павел дрожал всем телом, да, кажется, и Юлии не слишком было легко исполнить приказание папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцеловала жениха, а потом сейчас же опустилась на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платком, но Павел ничего этого не видел.

– Ну, оба сконфузились!.. Ох, дети, дети! Как опасны ваши... – «лета», конечно, думал сказать Владимир Андреич, но остановился, видно найдя, что подобное окончание решительно нейдет в настоящем случае.

Вскоре Владимир Андреич увел Павла от невесты, ради толкования с пришедшим торговаться обойщиком.

По уходе их Юлия, всплеснув руками, на-

чала плакать.

Павел уехал от Кураевых после ужина. Он заходил прощаться к невесте и на этот раз поцеловал только у ней руку.

Ехав домой, он предавался сладостным мечтаниям. Перспектива будущей семейной жизни рисовалась пред ним в чудном свете; вот будет свадьба: какой это чудный и в то же время страшный день! Какое нужно иметь присутствие духа и даже некоторое... а там, там будет лучше, там пойдет все ровнее, по-привыкнешь к новому положению; тут-то вот и можно наслаждаться мирно, тихо. В это время Павел подъехал к крыльцу, и необходимость вылезть из дрожек остановила на несколько времени его мечтания.

По приезде его домой ему подали записку от Лизаветы Васильевны:

«Прости меня, Поль, – писала она, – что я уехала, не сказав тебе, оставила тебя в такое время. Я не могла поступить иначе: этого требуют от меня мой долг и мои бедные дети. О самой себе я расскажу тебе после, когда буду сама в состоянии говорить об этом, а теперь женись без меня; молись, чтобы тебе бог дал

счастья, о чем молюсь и я; но ты, ты должен быть счастлив с своею женою. Прощай».

Письмо это прочитал герой мой почти механически: так был он занят новым положением, своими новыми чувствованиями!

# ХІ

## Свадьба

Две недели, назначенные Владимиром Андреичем до свадьбы, прошли очень скоро. Это поэтическое время для каждого почти жениха прошло для Павла слишком прозаически. Он обыкновенно отправлялся рано поутру к Кураевым, и каждый раз с твердым намерением сблизиться с невестой; но это ему никогда не удавалось, во-первых, по застенчивости собственного характера и по холодности невесты, а во-вторых, и потому, что решительно было некогда. Владимир Андреич беспрестанно ездил с ним закупать для него различные вещи. Дом был уже оклеен французскими обоями, экипажи и лошади куплены, подарки невесте сделаны, вследствие чего пяти тысяч как будто бы и не бывало у Павла в кармане, но расходов предстояло еще очень много; нужно было занимать, но у кого занять? Павел был в очень трудном положении и сел бы совершенно на мель, если бы сама судьба, в образе Перепетуи Петровны, не по-

дала ему руку помощи. Тетка, сердившаяся на Павла за то, что он, по словам ее, не хотел принять участия в гибели сестры, совершенно разобиделась сватовством моего героя без предварительного совета с нею; но, сверх ожидания, вдруг умилоствовала, искренно расположилась к новому родству и приняла живейшее участие в хлопотах племянника. Причина такой перемены заключалась в тонкой вежливости Владимира Андреича, захавшего к Перепетуе Петровне и приславшего к ней потом все свое семейство. Старая девушка была очень честолюбива. Это, не заслуженное еще с ее стороны внимание от Кураевых, изменило совершенно ее образ мыслей насчет женитьбы Павла. Она приехала к нему и, намылив, как водится, ему голову за то, что он начинал хорошее дело тайком, стала хлопотать и даже снова помирилась с Феоктистой Саввишной. Обе приятельницы беспрестанно переезжали одна к другой в дом, заезжали к Павлу, в один голос кричали на людей его и удивлялись тому, как скоро идет время. Перепетуя Петровна, узнав стороной, что Павел ездил занимать к кому-то деньги и не за-

нял, намылила в другой раз ему голову и сама предложила из собственной казны три тысячи рублей ассигнациями, впрочем, под вексель и за проценты. Павел ожил духом. О невесте во все это время некогда было ему и подумать; он как угорелый день и ночь ездил по лавкам и по мастеровым, исполняя поручения, которые давал ему каждое утро Владимир Андреич. Сам Кураев был решительно в это время полководец: он ездил сам, посылал Павла, посылал жену, Наденьку в людей – и все это делал, впрочем, для Павла, то есть на его деньги. Менее всех принимала участия во всех хлопотах сама невеста. Она обыкновенно, встав поутру, завивала с полчаса свои волосы в папильотки, во время, кофе припекала их, а часу в первом, приведя в окончание свой туалет, выходила в гостиную, где принимала поздравления, здоровалась и прощалась с женихом, появлявшимся на несколько минут; после обеда она обыкновенно уходила к себе в комнату и не выходила оттуда до тех пор, покуда не вызывали ее внимательные родители, очень прилежно следившие за нею. Бедная Юлия! В настоящее время она од-

на переживала драму, она одна страдала, всем было хорошо, все делали, что им хотелось, и были довольны собою. Владимир Андреич был счастлив, потому что пристроивал дочь, обделывал довольно трудное дело и только силою характера преоборал препятствия и утонченностию ума заинтриговывал зятя, Марья Ивановна наслаждалась тем, что Владимир Андреич, занятый хлопотами, не кричал на нее. Ей, впрочем, было иногда жаль Юлии, но, по размышлении, она постоянно доходила до той мысли, что часто и по страсти женившиеся живут, как кошка с собакой. Перепетуя Петровна сделалась похожа на индийского петуха, растопырившего крылья. Она начала ходить подняв голову, в необыкновенно накрахмаленных юбках, и неизвестно для чего принялась говорить в нос. Внимание Кураевых сильно развило в ней важность. «Эта подлая семейка так обошла ее, – говорила она впоследствии, – что ей даже не пришло в голову спросить племянника, дают ли что-нибудь за невестой». Феоктиста Саввишна была тоже очень счастлива. Она до того говорила со всяким встречным и

поперечным о свадьбе, ею устроенной, что решительно потеряла голос. Про жениха и говорить нечего: неопытный, доверчивый, увлеченный первою еще страстью к женщине, Павел ожидал, что вот так и окунется в море блаженства, не видел и не понимал, что невеста почти не может его равнодушно видеть. Хитрый Владимир Андреич беспрестанно ему твердил, что Юлия чрезвычайно скромна и никогда не выражает того, что чувствует. Наденька более всех обнаруживала участия к положению сестры, но, впрочем, и та часто увлекалась мечтою о грядущем бале и об обещанном новом бальном платье. Юлия же оставалась постоянно грустною. Боже мой! Таковую ли думала она составить партию? Она думала, что непременно выйдет за какого-нибудь гвардейского офицера, который увезет ее в Петербург, и она будет гулять с ним по Невскому проспекту, блистать в высшем свете, будет представлена ко двору, сделается статс-дамой. И что же вместо этих роскошных мечтаний давала ей горькая существенность: всю жизнь прожить в губернском городе, и добро бы еще женою какого-нибудь ловкого

богатого человека, а то выйти за тюфяка, с которым даже стыдно в люди показаться. Сверх того, сердце... читателю уже известно, что сердце Юлии не было свободно и принадлежало жестокому, но все-таки интересному Бахтиарову. Размышляя таким образом, она начинала чувствовать к жениху еще более неприязненное чувство. «Урод этакой! Тюфяк!» – шептала она сама с собою и начинала с досады плакать. Чтобы избавиться от предстоящего брака, несколько несбыточных планов составлялось в голове ее; так, например, броситься перед отцом на колени и просить его не губить ее; объясниться с самим Павлом: сказать ему, что она не может быть его женою, потому что любит другого, и просить его как благородного человека не принуждать ее делать жертву, которая, может быть, сведет ее во гроб. Мало этого – она вздумала было написать письмо Бахтиарову, признаться ему, что она его любит и умоляет его спасти несчастную от ужасного брака, увезти куда-нибудь дальше, например в Париж. Эта мысль нравилась Юлии более других. Но, отчасти по робости, а отчасти от самолюбия,

она не решилась сделать этот неосторожный шаг. Хорошо, если Бахтиаров поймет ее, а если станет смеяться, и потом узнает об этом папенька? Одно только утешало Юлию в ее положении: это мысль, что она, наконец, выйдет из-под родительской ферулы, будет дамой, станет выезжать одна и куда ей будет угодно.

Свадебные чины были розданы следующим образом.

Перепетуя Петровна, несмотря на девическое состояние, никому не уступила чести быть посаженной матерью жениха, пунктуально доказывая, что девушка в пятьдесят лет все равно что дама; а в посаженные отцы для Павла Владимиром Андреичем был вызван сосед по деревне, который по сю пору все со слезами вспоминал Василья Петровича, его друга, соседа и сослуживца. Феоктиста Савишна возведена была в звание почетной дамы; шафером со стороны жениха определен был Масуров, который, несмотря на свое обещание, не познакомился еще с новыми родственниками и неизвестно где пропадал. Со стороны невесты, как водится, отец, мать. По-

четной дамой была баронесса Клуکشтук, очень похожая на пиковую даму; шафером – двоюродный брат невесты, известный в городе под именем Петруши Масляникова, который, по случаю своего звания, купил около дюжины перчаток и всех спрашивал, что ему нужно будет делать? Здесь я должен заметить, что Владимир Андреич, как сам после рассказывал, обставил бы свадьбу и другими людьми поважнее, да со стороны жениха родство-то было уже слишком плоховато; так этаких-то людей с такими-то людьми не так ловко было свести.

Наконец, наступил день свадьбы. Павел проснулся очень рано; он был в каком-то истеричном состоянии: ему было грустно и весело, ему хотелось плакать и смеяться. Старуха проснулась тоже очень рано. Перепетуя Петровна, с помощью горничных, наконец, втолковала ей, что Павел женится и что высокий господин, приезжавший к ней и целовавший у ней руку, тесть его. Она расплакалась. Павел сам рыдал, как ребенок. Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна, бывшие при этой сцене, тоже плакали. Плакал, кажется, и

весь дом, по крайней мере Константин, нашивавший в лакейской на новую шинель галуны, заливался слезами и беспрестанно сморкался, приговаривая: «Эк их пустилось!» Венчание было назначено в четыре часа, потом молодые должны были прямо проехать к Кураеву и прожить там целую неделю; к старухе же, матери Павла, заехать на другой день. Часу в первом Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна разъехались по домам, чтобы одеться. Они непременно хотели присутствовать при венчании и потом уже проехать к Кураевым, где был назначен парадный танцевальный вечер. Обе дамы весьма хлопотали о своих нарядах и обе гневались на своих горничных: одна за то, что измят был блондовый чепец, а другая – другая даже и не знала за что, но только дала своей *femme de chambre* [11] урок... Павел, кажется, совсем растерялся; как бы не понимая ничего, он переходил беспрестанно из комнаты матери в свой кабинет, глядел с четверть часа в окошко на улицу, где, впрочем, ничего не было замечательного, кроме какого-то маленького мальчишки, ходившего босыми ногами по луже. Ото-

шедши от окна, он ложился на кровать, взды-  
хал и наконец, затворясь в своей комнате, мо-  
лился.

Часа за два до венчания Павел вспомнил, что он не видал еще своего шафера Масурова, хоть и писал к нему. Очень естественно, что зять, по своей ветрености, забудет и не придет! Он послал за ним лошадь. Через четверть часа кучер явился и объявил, что он объехал весь город, но Масурова не мог отыскать нигде. Что было делать? Приехали Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна, приехал, наконец, посаженный отец – шафер не являлся. Тетка и сваха были просто в отчаянии. Перепетуя Петровна, несмотря на свою привязанность к Масурову, назвала его в присутствии постороннего человека мерзавцем, а сосед пожал плечами. Но времени терять невозможно было; надобно было ехать. Павел, одетый в новый фрак, цветом аделаид, в белом жилете-пике и белом галстуке, который, между нами сказать, к нему очень не шел, начал принимать благословения сначала от матери, посаженного отца, а потом и от тетки.

Плач и вопль снова начались; старуха была очень дурна; посаженный отец со слезами вспомнил Василья Петровича, благословил Павла, поцеловал его и пожелал ему жить в счастья и нажить кучу детей, и потом понюхал табаку, посмотрел на часы и взялся за шляпу. Перепетуя Петровна, проплакавшись и осушивши батистовым платком слезы, начала так:

– Ну, Павел Васильич, дай тебе бог счастья, дай бог, чтобы твоя будущая жена была тебе и нам на утешение. Нас тоже не забывай: мы тебе не чужие, а родные. Можно сказать, что все мы живем в тебя; конечно, супружество – дело великое, хоть сама и не испытала, а понимаю: тут иной человек, иные и мысли. Ну, с богом, тронемтесь.

Павел, накинувши шинель, сел в свой фэтон. Пара вороных жеребцов дружно подхватила его от подъезда, так что у Константина едва удержалась круглая шляпа; и весь поезд двинулся к церкви ни шибко, ни тихо, но как следует свадебному дворянскому поезду.

С большею торжественностью и в лучшем порядке шли предсвадебные сцены в доме Ку-

раевых. Избранный в шаферы Петруша Масляников давно уже был в зале и наивно рассказывал барону Клукштук, супругу почетной дамы, что он не бывал еще ни на одной свадьбе и даже венчание видел только один раз, когда женился его лакей. Невесту одевали. При туалете ее присутствовали: почетная дама, троюродная сестра Владимира Андреича, очень обижавшаяся тем, что не получила никакой должности в свадебной церемонии, Наденька, которая, как известно, была обязана подать сестре крест и серьги, и еще три девицы, из коих две были дочери троюродной сестры Кураева. Юлия была вся в слезах до такой степени, что ее несколько раз принимались утирать мокрым полотенцем и все убеждали не плакать, потому что будут очень красны глаза.

Марья Ивановна сидела в гостиной на диване и тоже плакала, взглядывая по временам на Владимира Андреича, ходившего с заложенными на спину руками взад и вперед по комнате. На столе стояли приготовленные для благословения образа. Наконец, невесту вывели, и все сошлись в гостиную. Владимир

Андреич взял икону. Юлия поклонилась отцу в ноги: дыхание у нее захватило, она не могла уже сама встать, ее подняли на руках, и на этот раз уже все советовали проплакаться. Кураев поцеловал дочь и сам прослезился. С Марьей Ивановной сделалась истерика, она решительно не могла благословить дочери. Невесту под руки вывели и посадили в карету с почетной дамой. Шафер сел на парные дрожки; барон Клуштук – с троюродною сестрою Владимира Андреича, а барышень усадили всех в карету. Им очень хотелось посмотреть на венчание, но они, как не принадлежавшие к поезду, должны были приехать после. Владимир Андреич и Марья Ивановна остались дома. Венчание началось и кончилось своим порядком. В церкви было пропасть народу, и целая толпа еще ломилась извне. Квартальный надзиратель несколько раз принужден был прибегать к мерам строгости. Он еще до приезда невесты поставлен был в необходимость ударить какую-то личность в фризовой шинели, порывавшуюся в церковь, толкнул, и толкнул довольно больно, в шею звонкоголосую мещанку и жестоко

надрал волосы мальчишке, перепачканному в саже и очень похожему, по словам квартального, на дьяволенка. Жених и невеста во время всей церемонии даже не взглянули друг на друга. На их счет зрителями было произнесено несколько суждений, по которым оказалось, что у жениха нос велик и лицо плоско, а что невеста гораздо лучше его. Какой-то маленький гимназист прозвал Перепетую Петровну дыней-канталупкой. Почетная дама, баронесса Клуکشтук, имела довольно длинный и серьезный разговор с Феоктистой Саввишной насчет того, что у жениха нет шафера.

Наконец, молодые возвратились. Владимир Андреич и Марья Ивановна встретили их в зале. Они, сопровождаемые всем своим поездом, вошли и начали принимать благословения.

– Дети мои! – начал Владимир Андреич своим внушительным тоном. – Позвольте мне в настоящем, важном для вас, случае сказать небольшую речь. – При этих словах Владимир Андреич вынул из бокового кармана небольшую тетрадку. Такое намерение Кура-

ева, кажется, всем присутствующим показалось несколько странным, и некоторые из них значительно между собою переглянулись.

– Ныне вы вступили, дети мои, – начал Владимир Андреич, – в новую жизнь, в новые обязанности: для некоторых эти обязанности легки и приятны, а для некоторых цепи брака тяжелее кандалов преступника. Отчего же это происходит? Это происходит от нас самих. Мужья хотят слишком много власти, а жены слишком мало повиноваться. Возьмите вы в пример двух голубков: эти пернатые могут служить прекрасным образцом для человека. Они искренне любят друг друга. Голубь трудолюбив и нежен к своему семейству и заботится о нем; голубка покорна, нежна к своему другу. Будьте подобны двум голубкам, мои дети, и вы будете счастливы. Вы, Павел Васильич, можно сказать, отрываете от нашего сердца лучшую часть, берете от нас нашу чистую, нежную голубицу, а потому на вас лежит священная обязанность заменить для нее некоторым образом наше место, успокоить и разогнать ее скуку, которую, может

быть, она будет чувствовать, выпорхнув из родительского гнезда. Может быть, вы сами будете отцом и тогда узнаете, как тяжелы теперешние наши чувствования; одно, может быть, только приличие удерживает нас от непрерывных слез, которыми бы мы готовы разлиться, отпуская наше милое дитя в чужие люди. Да, примите еще раз от меня благословение!

С этими словами Владимир Андреич проворно спрятал речь в боковой карман и, поклонившись, осенил молодых руками.

– Отличная речь! – заметил шафер барону Клукштук. Барон только пожал губами и ни слова не отвечал.

Все вошли в гостиную; начали подавать чай; невесту повели переодевать из венчального платья в бальное. Часов в восемь пришли музыканты и начали съезжаться гости.

Честолюбивый Владимир Андреич не утерпел, чтобы не позвать на свадебный вечер знакомых своего круга. Также приглашены были, ради танцевания, и молодые люди, в числе которых был и Бахтиаров. Молодая еще не выходила. Павлу, кажется, было очень

неловко: он видел, что на него взглядывали искоса все дамы, а некоторые из мужчин, хотя почти ему незнакомые, никак не могли удержаться, чтобы не сделать несколько двусмысленных намеков. Перепетуя Петровна была не в духе, потому что Кураев ее принял не с подобающею честью, как следовало бы принять посаженую мать жениха, и, пройдя в гостиную, попросил сесть на диван не ее, а баронессу Клукштук. Даже Марья Ивановна не занялась с нею, а под села к троюродной сестре Владимира Андреича, тоже усевшейся на другом конце дивана. Таким образом, Перепетуге Петровне почти пришлось сесть на крайнем кресле, чего она никак не хотела сделать, и села к окошку.

Наконец, вышла невеста, и вскоре за тем приехала Марья Николаевна, помещица трех тысяч душ. Дам и кавалеров было уже достаточное число. Из приглашенных молодых людей не явился только один Бахтиаров. Владимир Андреич махнул музыкантам: заиграли польский.

– Не угодно ли вам начинать? – сказал Кураев, обращаясь к зятю.

Бедный Павел решительно смешался. Он даже не понимал, какой это начинается та-нец. Он стоял и все еще не брал руки невесты, давно уже стоявшей около него. Юлия догадалась и, сделав гримасу, сама взяла его за руку и повела в залу.

– Вы, верно, не умеете танцевать? – спросила она его тихо.

Павел покраснел: ему было очень совестно.

– Я... нет-с... но, знаете... давно очень учился...

– Так вы скажите папеньке, что у вас нога болит, а то неловко: будете путать.

Вслед за молодыми следовал Владимир Андреич с Марьей Николаевной. Этот поступок Кураева жестоко оскорбил Перепетую Петровну. Она думала, что он непременно возьмет ее на польский.

– Это уж, видно, не свадебный вечер, а бал какой-то, – сказала она проходившей мимо Феоктисте Саввишне.

– А что? – спросила та.

– Да так уж... Нас уж с вами, кажется, со- всем забыли, все знатными людьми занима-

ются.

Не знаю, что бы ответила на это Феоктиста Саввишна, но ее в это время кликнули к Марье Ивановне.

Польский кончился. Юлия подошла к отцу.

– Папа, он совсем не умеет танцевать.

– Кто?

– Бешметев.

– Не может быть: французскую пройдет.

– Какое французскую: он и польский не умеет. Я с ним ни за что не пойду; я уж ему велела сказать, что у него нога болит.

Владимир Андреич махнул рукой, говоря: «Хорошо!»

– Какая неприятность! – сказал он потом, выходя в залу. – У нас молодой наш отказывается от танцев: вчерашний день ногу ушиб, выскакивая из кареты. Павел Васильич, – сказал он, обращаясь к вдали стоящему Бешметеву, – что, ваша нога болит еще?

– Болит-с, – отвечал Павел.

– Досадно, а делать нечего. Постойте-ка, батюшка, у косячка да полюбуйтесь, как жenuшка с другими будет любезничать; вот и узнаете, какво мужнино-то дело: ничего,

привыкайте.

Все это Владимир Андреич говорил довольно громко, так что слышали все почти кавалеры и многие дамы. Началась французская кадрили; молодая танцевала с шафером.

Во время другой кадрили в залу вошел Бахтиаров. В этот раз, кажется, он еще был молодцеватее и интереснее собою. Лицо его было бледнее обыкновенного. Он прямо подошел к невесте, поздравил ее, потом поздравил попавшегося ему навстречу Владимира Андреича и поклонился Павлу. А вслед за тем в своей обычной равнодушной позе расположился стоять у окна, объявив решительно хозяйину, что он танцевать не будет. Молодая, несмотря на то, что очень была грустна и расстроена, заметила, что Бахтиаров приехал очень бледен и чем-то рассержен; она слышала его отказ танцевать и перетолковала все это решительно в свою пользу. «Он, верно, влюблен в меня, — думала она, — страдал, услышав, что я выхожу замуж, и потому очень бледен и расстроен»; но она этому очень рада и начнет его мучить с этого же вечера. По окончании кадрили Юлия подошла к Павлу,

сидевшему невдалеке от Бахтиарова.

— Как жаль, Поль, что ты не танцуешь! Я бы желала с тобою только танцевать!

Павел быстро встал на ноги; на глазах его, кажется, навернулись слезы; он никак не ожидал подобной выходки; ему было и стыдно и приятно. Юлия Владимировна подала ему руку. Павел едва догадался, что ему надобно было поцеловать эту руку.

Начались снова танцы. Бахтиаров не танцевал; Юлия Владимировна, чтобы окончательно взбесить губернского льва, казалась веселою, счастливою и несколько раз обращалась с нежными выражениями к Павлу; но Бахтиаров уехал, и она сделалась грустна, задумчива и решительно не стала замечать мужа. Павел все стоял у притолоки и все глядел на жену. Наденька очень любезничала с одним молодым чиновником, необыкновенно ловко танцевавшим вальс. Перепетуя Петровна решительно выходила из себя от невнимания, оказанного ей хозяином: ее даже не посадили играть в преферанс. Владимир Андреич решительно был занят губернскими тузами, а Марья Ивановна все егозила около помещи-

цы трех тысяч душ.

За ужином Перепетуя Петровна поставлена была в такое положение, что только от стыда не расплакалась. Мало того, что она, как бы следовало посаженной матери, не была посажена на первое место, мало этого, – целый стол голодала она, как собака, и попила только кваску. Вот в чем дело: свадебный день был постный, а стол был приготовлен скоромный, и у доброго хозяина не стало настолько внимания, чтобы узнать, нет ли таких гостей, которые не едят скоромного. Что она, попадья, что ли, какая? Она, кажется, дворянка и, можно сказать, тут первое лицо: для нее бы для одной можно приготовить стол приличный. Феоктиста Саввишна – известное мелево, – ей хоть козла подай на страстной неделе, так съест. Сами посудите, в какое она поставлена была положение, точно проклятая какая-нибудь, ни к чему прикоснуться не может; не скоромиться же нарочно для этого раза; кроме греха, тут некоторые знают, что она соблюдает посты. Это просто насмешка! – Вот что думала Перепетуя Петровна, сидя за столом; гнев ее возрастал с

каждым блюдом, у ней едва доставало присутствия духа сказать, что она не ужинает; сами же хозяйева как будто бы этого ничего не замечали и не видели. Невеста была бледна и ничего не ела, Павел тоже сидел потупившись и ни к чему не прикасался.

– Посмотрите, им уж хлеб нейдет на ум, – заметил армейский офицер сидевшему около него молодому человеку с решительными манерами, с которым мы еще в собрании познакомились.

Молодой человек с прическою *a la diable m'emporte*[12] сделал гримасу и, проговоря: «Это все глупости!», залпом выпил стакан красного вина. После ужина бальные гости все разъехались, остались одни только непосредственные участники свадьбы. Молодых проводили в спальню с известными церемониями. Видимым образом, кажется, все шло своим порядком. Впрочем, Перепетуя Петровна никак не могла удержаться, чтобы не высказать своего неудовольствия Владимиру Андреичу.

– Позвольте вас поблагодарить за ваше внимание и угощение, – говорила она, проща-

ась с хозяевами. – Мы хоть, конечно, и небогаты, но все-таки понимаем что-нибудь и стараемся с своей стороны отплатить тем же, что сами получили. – Проговоря это, она раскланялась и ушла в лакейскую.

На другой день свадьбы в чайной дома Кураевых происходил следующий разговор, который ключница Максимовна, пользовавшаяся от господ большим доверием за пятнадцатилетние перед ними сплетни на всю остальную братию, вела с одною ее знакомой торговкою.

– Ну что, матушка Марья Максимовна, каков ваш молодой-то барин? – спрашивала та.

– Смирненок очень, Федотовна; не под пару нашей-то, я люблю сказать правду: ей бы надобно муженька посердитее, чтобы побранивал да пошколивал. А этому она скоро голову свернет.

– Вишь ты, какое дело! – заключила глубокомысленно торговка.

## XII

### Домашние сцены

Более полугода прошло после женитьбы Павла. Наступила снова зима, снова начались удовольствия. В городе ничего не случилось достопримечательного. Значительной перемены в жизни главных лиц моего рассказа никакой не было. Павел жил с женою и с матерью; Кураев не уезжал еще в Петербург; хорошие приятели его по сию пору еще не искали ему там частного места. Лизавета Васильевна жила в деревне; Перепетуя Петровна решительно разошлась с своим родным племянником, даже голубушку-сестрицу третий месяц не видала. Она некоторым образом действительно была права в своем неудовольствии на Бешметевых: во-первых, если читатель помнит поступок с нею Владимира Андреича на свадьбе, то, конечно, уже согласится, что это поступок скверный; во-вторых, молодые, делая визиты, объехали сначала всех знатных знакомых, а к ней уже пожаловали на другой день после обеда, и потом, ко-

гда она начала им за это выговаривать, то оболтус-племянник по обыкновению сидел дураком, а племянница вздумала еще вздернуть свой нос и с гримасою пропищать, что «если, говорит, вам неприятно наше посещение, то мы и совсем не будем ездить», а после и кланяться перестала. Она уж сама не станет заискивать: извините – не такого характера, и потому совершенно прервала с неблагодарными всякое сношение и подала на Павла ко взысканию вексель. Впрочем, она очень тосковала, что не видит бедную сестрицу, и каждый день посылала Палашку наведываться о ее здоровье, а тут, к слову конечно, спрашивала, каково поживают и молодые. Палашка обыкновенно на вопрос Перепетуи Петровны сначала отвечала, что все – слава богу! – хорошо, а уж после кой-что и порасскажет. Из рассказов ее Перепетуя Петровна узнала, что Владимир Андреич по сю пору еще ничего не дал за дочкою; что в приданое приведен только всего один Спиридон Спиридоныч, и тот ничего не может делать, только разве пыль со столов сотрет да подсвечники вычистит, а то все лежит на печи, но хвостун большой ру-

ки; что даже гардероба очень мало дано – всего четыре шелковые платья, а из белья так – самая малость. Хозяйством молодая барыня ничего не занимается, даже стол приказывает сам Павел Васильич, а она все для себя изволит делать наряды, этга на днях отдала одной портнихе триста рублей; что молодые почивают в разных комнатах: Юлия Владимировна взяла себе кабинет Павла Васильича и все окошки обвешала тонкой-претонкой кисеей, а барин почивает в угольной, днем же постель убирается; что у них часто бывают гости, особенно Бахтиаров, что и сами они часто ездят по гостям, – Павлу Васильичу иногда и не хочется, так Юлия Владимировна сейчас изволит закричать, расплачутся и в истерику впадут. Слушая эти рассказы, Перепетуя Петровна обыкновенно приговаривала: «Так ему, дураку, и надобно, – еще по щекам будет бить; как бы родство-то свое больше уважал да почитал, так бы не то и было!»

Вечером накануне Нового года Павел сидел в комнате у матери. Старуха целую осень заметно слабела, а этот день с нею повторился параличный припадок; послали за докто-

ром, который поставил ей около десятка горчичников и обещался ночью еще раз заехать. Видно было, что он даже опасался за жизнь больной, которая была в совершенном беспмятстве и никого не узнавала. Павел послал сказать Перепетуге Петровне и отправил нарочного к сестре. Несмотря на болезнь матери, Юлии Владимировны не было дома – она находилась у модистки, где делалось для нее новое платье, в котором она должна была явиться на бал в дворянское собрание. Павел был худ и бледен. Видно, золотое время для новобрачных не слишком-то счастливо прошло для него. Он сидел около больной и держал ее за руку; ключница Марфа стояла в ногах, пригорюнившись, и вздыхала; молодая горничная девка приготавливала новый горчичник, перемарав в нем руки и лицо. Приехала Юлия Владимировна в сопровождении гризетки, бережно несшей новое платье. Сначала она прошла в свой кабинет, или, как она его называла, будуар, и еще раз начала примеривать обнову. Платье сидело необыкновенно ловко. Юлия Владимировна с полчаса любовалась пред большим зеркалом своим

платьем и собой; она оглядывала себя во всевозможных положениях – и спереди, и с боков, и загибала даже голову, чтобы взглянуть на свою турнюру, и потом подвигала стул и садилась, чтоб видеть, каково будет платье, когда она сядет. Платье было отличное. Переодевшись, Юлия Владимировна вошла в комнату больной.

– Что ж вы не собираетесь? По сию пору не бриты, – сказала она, даже не поздоровавшись с мужем.

– Я сегодня не могу ехать, Юлия, – проговорил Павел.

– Вот прекрасно! Вот хорошо! – вскрикнула Юлия каким-то неприятно звонким голосом. – Зачем же я платье делала? Зачем вы это меня дурачите?

– Вы видите, матушка умирает.

– Скажите, пожалуйста, что выдумал! Во-первых, матушка не умирает, а обыкновенно больна; а во-вторых, разве вы поможете, что тут будете сидеть?

– Воля твоя, я не в состоянии.

– И вы это решительно говорите?

– Вы знаете, когда можно ехать, я еду.

– Нет, вы скажите мне, что вы решительно не хотите ехать.

– Я не могу ехать.

– Очень хорошо! Отлично! Вы думали меня испугать – ужасно испугалась, – я одна поеду.

Павел ничего не отвечал.

– И непременно поеду. Нарочно, знал, что мне хочется, выдумал предлог, какого совсем нет.

– Предлог у вас перед глазами, Юлия.

– Никакого у меня нет перед глазами предлога, а есть только ваши выдумки... Я одна поеду.

Проговоря это, Юлия вышла в угольную и, надувши губы, села на диван. Спустя несколько минут она начала потихоньку плакать, а потом довольно громко всхлипывать. Павел прислушался и тотчас догадался, что жена плачет. Он тотчас было встал, чтоб идти к ней, но раздумал и опять сел. Всхлипывания продолжались. Герой мой не в состоянии был долее выдержать свой характер: он вышел в угольную и несколько минут смотрел на жену. Юлия при его приходе еще громче начала рыдать.

– О чем же вы плачете? – спросил он.

– Всегда напротив, – говорила сквозь слезы Юлия, – если бы я знала, я просила бы папеньку. Как я поеду одна? Зачем же я делала платье? Вечно с вашими глупостями; я не служанка ваша смеяться надо мной; поутру сбиралась, а вечером сиди дома!

– Ах, как вы малодушны!

– Сам ты малодушен – тюфяк!

Павел улыбнулся и сел около жены, но Юлия отодвинулась на другой конец дивана.

– Не извольте садиться около меня... неблагодарный... вчера что вечером говорил?

– Я и теперь скажу то же.

– Очень нужны мне твои слова, притворяется туда же: умереть для вас готов, а съездить на вечер не хочется!

– Как вы несправедливы ко мне. Что, если мы поедем, а матушка умрет, – что даже посторонние скажут? С какими чувствами мы будем веселиться?

– Вот прекрасно – с какими чувствами! Не прикажете ли все сидеть да плакать? Подите вон: видеть вас не могу! Наказал меня бог, по милости папеньки. Наденька теперь, я ду-

маю, уж совсем оделась. – При этих словах Юлия снова залилась слезами и упала на подушку дивана.

– Юлия! Это ведь смешно – вы ребячитесь, – сказал Павел, подходя снова к жене.

– Отойдите от меня! – вскрикнула Юлия, оттолкнув мужа рукой, и продолжала плакать.

Павлу жаль было жены: он заметно начал сдаваться.

– Не плачьте, Юлия, я поеду, – проговорил он.

Юлия не унималась.

– Я поеду, я пойду сейчас бриться. Ну, вот видите, я пошел бриться, – говорил Павел и действительно пошел в залу.

По уходе мужа Юлия тотчас встала и отерла глаза.

«Дурак этакой, – говорила она про себя, глядясь в зеркало, – вот теперь с красными глазами поезжай на бал – очень красиво!»

Муж и жена начали одеваться. Павел уже готов был чрез четверть часа и, в ожидании одевавшейся еще Юлии, пришел в комнату матери и сел, задумавшись, около ее кровати.

Послышались шаги и голос Перепетуи Петровны. Павел обмер: он предчувствовал, что без сцены не обойдется и что тетка непременно будет протестовать против их поездки.

– Батюшки мои! Что это у вас наделалось? – говорила Перепетуя Петровна, входя впопыхах в комнату и не замечая Павла. – Господи! Она совсем кончается... Матушка сестрица! Господи! Какой в ней жар! Да были у нее лекарь-то?

– Лекарь был, тетушка, – произнес Павел.

Перепетуя Петровна, наконец, заметила племянника.

– Что, батюшка, – сказала она, – уморил матушку-то? Дождался этакого счастья? Смотри, каким франтом, модный какой!.. На какой радости-то?.. Что мать-то умирает, что ли?

Павел не смел объявить тетке, что он едет в собрание. Но Перепетуя Петровна сама догадалась.

– На бал, что ли, они куда едут праздновать кончину матери? – спросила она, обращаясь к ключнице.

Марфа молчала.

– На бал, что ли, едете с супругой-то? – про-

должала она, обращаясь к Павлу.

– Нас звали, тетушка, на дворянский бал.

– Да что, Павел Васильич, с ума, что ли, вы сошли, помешались, что ли, вы совсем с своей благоверной-то? Царица небесная! Не позволю вам этого сделать, не позволю срамить вам нашего семейства! Извольте сейчас раздеваться и остаться при матери, и жену не пускайте. Что такое? На что это похоже? Вы, пожалуй, и на похороны-то цыганский табор приведете – цыгане этакие... фигуранты! Только по балам ездить! Проюрдонитесь еще, по миру пойдете! Много отвалили за женушкой-то? В кулаке, я думаю, все приданое унесешь! Не смейте, сударь, ездить!

Старуха в это время застонала.

– Матушка моя! Голубушка! И ты мучишься – как не мучиться, видя этакую неблагодарность и бесстыдство! Мое не такое здоровье, да и то в груди закололо.

В это время в комнату вошла совсем одетая Юлия. Увидев тетку, она нахмурила брови и даже не поклонилась ей, но обратилась к мужу.

– Что ж? Поедем, пора!

Павел решительно не знал, что делать. Перепетуя Петровна вся вспыхнула.

– Нет, не пора и не может быть пора, потому что у него мать умирает.

Юлия сделала гримасу и продолжала натягивать французские перчатки.

– Велите подавать лошадей, – сказала она стоявшей тут горничной.

– Велите отложить лошадей, – перебила Перепетуя Петровна, поднимаясь со стула и придя в совершенный азарт. – Павел Васильич! Что ж вы молчите? Велите сейчас отложить лошадей. Оставайтесь дома и оставьте и ее: она не смеет против вашего желания делать!

Юлия взглянула на Перепетую Петровну и залилась самым обидным смехом.

– Что, ваша тетка, верно, сумасшедшая? – спросила она Павла.

Перепетуя Петровна, не слишком осторожная в собственных выражениях, не любила, впрочем, чтоб ей говорили дерзости.

– Нет, я не сумасшедшая, а сумасшедшие-то вы с муженьком! Как вы смели мне это сказать? Я, сударыня, дворянка... почище

вас: я не выходила в одной рубашке замуж... не командовала своим мужем. Я не позволю ругаться нашим семейством, которое вас благодетельствовало, – нищая этакая! Как вы осмелились сказать мне это? Не смей ехать! Говорят тебе, Павел, не смей ехать! Командирша какая!.. Много ли лошадей-то привели? Клячи не дали. Франтить, туда же! Слава богу, приютили под кровлю, кормят... так нет еще...

Юлия сначала с презрением улыбалась; потом в лице ее появились какие-то кислые гримасы, и при последних словах Перепетуи Петровны она решительно не в состоянии была себя выдержать и, проговоря: «Сама дура!», – вышла в угольную, упала на кресла и принялась рыдать, выгибаясь всем телом. Павел бросился к жене и стал даже перед нею на колени, но она толкнула его так сильно, что он едва устоял на месте. Перепетуя Петровна, стоя в дверях, продолжала кричать:

– Вишь, как кобенится, вишь, как гнет, – вставай, батюшка, на колена, еще пощечину даст; вот так, в губу бы еще ногой-то! Таковский!

– Ой-ой! Умираю! – кричала Юлия.

Больная, обеспокоенная криком, застонала. Павел был точно помешанный: не помня себя, вошел снова в комнату матери и сел на прежнее место.

Чтобы окончательно дорисовать эту драматическую сцену, явился Михайло Николаич Масуров, весь в мелу, с взъерошенными волосами и с выбившеюся из-под жилета манишкой. Вошел он по обыкновению быстро. Первый предмет, попавшийся ему на глаза, была лежавшая на диване Юлия.

– Это что такое? – проговорил он. – Верно, умерла матушка? Юлия Владимировна! Юлия Владимировна! Что вы такое делаете?

Вслед за тем Масуров вошел в спальню матери и увидел там сидевшего Павла, державшего обеими руками за голову. Перепетуя Петровна в это время была в девичьей и пред лицом девок ругательски ругала их молодую барыню и, запретив им строго ухаживать за ней, велела тотчас же отложить лошадей.

– Что они, угорели все, что ли? Матушка-то, кажется, жива... еще дышит. Павел Васильич! Братец! Полноте, что вы тут делаете?

– Спасите жену, она умирает, – проговорил Павел, – бога ради, спасите!

Масуров пожал плечами и пошел к Юлии.

– Должно быть, угорели; старуху, верно, оттого и схватило.

Юлия по-прежнему лежала на диване с закрытыми глазами, всхлипывая и вздрагивая всем телом; по щекам ее текли крупные слезы.

– Сестрица! Юлия Владимировна! Вставайте, перестаньте плакать, что это вы делаете? Перестаньте гнуться, шею сломаете; постойте, хоть я вам платье-то расстегну. Платье-то какое славное, видно, бальное.

Масуров остановился и несколько минут посмотрел на невестку.

– Что ж мне с ней делать? Ей-богу, не знаю; разве водой вспрыснуть?.. Пожалуй, умрет еще – никого нет, проклятых.

С этими словами он вышел в залу, в лакейскую; но и там никого не было из людей. Делать было нечего – Масуров вышел на двор, набрал в пригоршни снегу и вслед за тем, вернувшись к своей пациентке, начал обкладывать ей снегом голову, лицо и даже грудь.

Юлия сначала задрожала, чихнула и, открыв глаза, начала потихоньку приподыматься. Павел, подглядывавший потихоньку всю эту сцену, хотел было, при начале лечения Масурова, выйти и остановить его; но увидя, что жена пришла в чувство, он только перекрестился, но войти не решился и снова сел на прежнее место. Между тем Юлия совершенно уже опомнилась и, водя рукою по лбу, как бы старалась припомнить все, что случилось.

– Здравствуйте, сестрица! Что это такое с вами? Я думал, что вы совсем уж умерли.

– Велите подать лошадей мне, – говорила она, – я не могу здесь оставаться: меня скоро бить начнут. Скорей лошадей мне! Они заложены.

Масуров вышел и скоро вернулся.

– Лошади отложены, сестрица! – сказал он.

Юлия пожала плечами.

– Есть с вами лошади? Дайте мне ваших лошадей!

– У меня извозчик, та соеур.

– Ничего, проводите меня.

– Извольте, сестрица, да вот как же Павел-то Васильич? Ему надобно сказать: он

очень беспокоится.

– Пусть он беспокоится о своей мерзкой те-тушке! Дайте мне салоп – он в лакейской ви-сит.

Масуров повиновался. Юлия уехала.

– Куда это Юлия поехала? – спросил Павел, выйдя к Масурову.

– Право, не сказала. Вот узнаем от извозчи-ка, как вернется. Что такое у вас вышло?

Павел вздохнул и не в состоянии был ни-чего сказать. Явилась Перепетуя Петровна и рассказала Масурову, в чем дело было.

Вернувшийся извозчик донес, что Юлия поехала к отцу. Масуров еще с полчаса про-был у брата и по-своему успокоивал его и тет-ку. Павлу он говорил, что это ничего, что у него Лиза первый год, вышедши замуж, каж-дый день падала в обморок, что будто бы де-вушки, сделавшись дамами, всегда бывают как-то раздражительны, чувствительны и что только на это не надобно смотреть и много уважать. У Перепетуи Петровны он внима-тельно выслушал трижды рассказ о злодей-ских поступках племянницы и вполне согла-сился с нею, что Юлия даже не стоит назва-

ния благородной женщины; а потом, объяснив, что он еще не доиграл партию в бостон, отправился, куда ему нужно. Перепетуя Петровна осталась у сестры и говорила, что она пробудет у ней всю ночь и день, хоть бы от этого ее племянницу разорвало пополам, потому что для ней, Перепетуи Петровны, обязанности сестры всего дороже.

Между тем как происходили такого рода происшествия, Владимир Андреич сидел дома и встречал Новый год один. Он слегка страдал подагрой и потому, боясь простуды, не выезжал. Семейство же свое он не хотел лишиться удовольствия и отпустил Марью Ивановну с Наденькой на дворянский бал. Владимир Андреич был на этот раз в очень хорошем расположении духа. Он только сегодня поутру получил письмо из Петербурга, извещавшее его, что, наконец, нашли ему там место, и в настоящее время он рассчитывал свои средства. От заложенного в опекунский совет имения он совсем хотел отступиться. Частные долги у него были все по мелочи и по распискам. Следовательно, о них беспокоиться было нечего. Он продаст дом, экипажи,

лошадей, мебель, всю домашнюю утварь, – всего будет тысяч пятнадцать, – и, следовательно, приехать в Петербург и обзавестись на первый раз будет у него с избытком. Наденьку сейчас же по приезде в Петербург выдаст замуж, а Марье Ивановне на весь домашний расход будет давать две тысячи, а остальные две тысячи на собственное удовольствие, – недурно, право, недурно!

На этой самой мысли Владимира Андреича вошла Юлия.

– А! Ты как появилась? Что это значит, и в бальном платье? Отчего ты не на бале?

Юлия молча поцеловала руку отца и, бросившись в кресла, закрыла глаза платком.

– Что с тобой, Джули? – спрашивал удивленный и несколько испуганный Владимир Андреич.

– Я не могу с ним жить, папа.

– С кем не можешь жить?

– С мужем... Меня разругали, обидели... выгнали...

Владимир Андреич сильно обеспокоился.

– Кто тебя разругал? Кто тебя выгнал?

– Он с своей мерзкой теткой; она говорит,

что я нищая, что они меня хлебом кормят...  
Это ужасно, папа!

При этих словах Юлия залилась слезами.

– Ей-богу, ничего не понимаю! Перестань плакать-то; расскажи, что такое?

– Сегодня поутру...

– Ну?

– Сегодня поутру я собиралась ехать на бал, он – ничего... хотел ехать...

– Дальше.

– Потом я после обеда поехала за этим платьем; приезжаю – уж совсем не то: «Я, говорит, не могу ехать, матушка умирает...» Ну ведь, знаете, папа, она каждый день умирает.

– Ну, конечно. Старуха полумертвая – давно бы уж ей пора в Елисейские поля[13]! Продолжай.

– Я начала ему говорить, что это нехорошо, что я сделала платье; ну, опять ничего – согласился: видит, что я говорю правду. Совсем уж собрались. Вдруг черт приносит этого урда толстого, Перепетую, и кинулась на меня... Ах! Папа, вы, я думаю, девку горничную никогда так не браните – я даже не в состоянии передать вам. С моим-то самолюбием каково

мне все это слышать!

– Ну, что же он-то?

– Ну, что он... как будто вы, папа, не знаете его, тюфяка; ведь он очень глуп. Я не знаю, как вы этого не видите.

Владимир Андреич задумался и начал ходить по комнате.

– Во-первых, тебя, стало быть, не выгоняли, а бранилась только эта дура Перепетуя. Отчего же ты сама ее не бранила?

– Я не могу, папа. Я только и назвала ее дурой: у меня грудь захватило, и сделалась со мною по обыкновению истерика.

Владимир Андреич снова задумался и начал ходить большими шагами по комнате.

– Все это пустяки, – произнес он после долгого молчания. – Я сейчас выпишу его сюда и дам ему хорошую головомойку, чтоб он дурьей породе своей не позволял властвовать над женою.

– Выпишите, папа, и поговорите, чтоб он просто не пускал в дом эту мерзавку-тетушку.

Владимир Андреич сел и написал зятю записку следующего содержания:

«Павел Васильич! Прошу вас покорно

немедля пожаловать ко мне; мне нужно очень с вами объясниться. Надеюсь, что исполните мое желание.

Доброжелатель ваш такой-то...»

– Припиши и ты, Юлия, – сказал Кураев, подавая дочери записку.

Юлия написала:

«Павел! Приезжай сию секунду к папеньке; в противном случае ты никогда меня не увидишь».

Человек был отправлен.

– Есть ли вам жить-то чем? Деньги есть ли у вас? – спросил Кураев.

– Какие, папа, деньги! На днях пятьсот рублей заняли, а теперь всего двести осталось. Вы ему поговорите о службе – служить не хочет.

– Отчего же он не хочет?

– Оттого, что в Москву хочет ехать; профессором, говорит, меня там сделают. Какой он профессор – я думаю, ничего и не знает.

– Что ж, ему там обещали, что ли?

– Я не знаю. Поговорите ему, пожалуйста; нам скоро будет нечем жить совсем.

– То-то и есть поговорить... Самой надобно

не малодушничать... Он человек добрый; из него можно, как из воску, все делать. Из чего сегодня алярму сделали! Очень весело судить вас! Где нельзя силой, надобно лаской, любовью взять... так ведь нет, нам все хочется повернуть, чтобы сейчас было по-нашему. Ну, если старуха действительно умирает, можно было бы и приостаться, не ехать, – что за важность?

Юлия слушала выговор папеньки потупившись.

Явился Павел.

– Ну, что у вас там такое? Садитесь-ка сюда, – начал довольно ласково Владимир Андреич.

Павел сел и, кажется, решительно не смел взглянуть на жену.

– Я вас хочу попросить, Павел Васильич, – начал Владимир Андреич, – пожалуйста, не позволяйте тетке в вашем доме делать этаких комеражей!.. Что это такое? На что это похоже? Между благородными людьми, образованными, браниться... Фу ты, мерзость какая! Дочь моя так воспитана, что она решительно не только не испытала на себе, даже не вида-

ла, не слыхала ничего подобного; даже не в состоянии была передать мне всех сальных выражений: у нее язык не поворачивается! Конечно, это происходит от невежества Перепетуи Петровны – так ваша обязанность остановить ее. Вы, кажется, человек, получивший воспитание. Не нравится, не ездите... Какая вам надобность в ней?

– Она приехала к матушке.

– Прекрасно! Так она и сидит у матушки, – на вас-то она какое имеет влияние? До вас ей какое дело? Помилуйте, в нашем образованном веке отцы родные не мешаются в семейные дела детей. Ну вот я, скажите, пожалуйста, мешался ли хоть во что-нибудь? Позволил ли я себе оскорбить вас хоть каким-нибудь ничтожным словом? Вы вежливы, а я еще того вежливее, и прекрасно.

Павел сидел потупившись и, кажется, вполне соглашался с словами Владимира Андреича, будучи сам убежден, что Перепетуе Петровне не в свое дело не следовало мешаться.

– Ну, что матушка-то, скажите, пожалуйста, плоха?

– Очень слаба. Сейчас был доктор и пустил ей кровь.

– Да, вот еще кстати. Я, признаться сказать, хотел с вами давно поговорить об этом, – начал Владимир Андреич. – Что вы с собой думаете делать? Отчего вы не служите?

Этот вопрос очень смешал Павла.

– Я приготавлиюсь на магистра-с.

– Что ж, вы занимаетесь? Повторяете старое, что ли, или вперед учите?

– Ничего не делает, – подхватила Юлия.

– Нет еще. Я буду заниматься, – отвечал Павел, совершенно сконфузившись.

С самой свадьбы, или, лучше сказать, с самого сговора, он почти не брал книги в руки. Сначала, как мы видели, хлопотал о свадьбе и мечтал о грядущем счастье, а потом... потом... мы увидим впоследствии, что занимало ум и сердце моего героя.

– Вот видите, что я вижу из ваших предположений, – рассуждал Владимир Андреич. – Вы еще не начали заниматься, а времени уж у вас много пропущено, а следовательно, я полагаю, что вам трудно будет выдержать экзамен. Это я знаю по себе – я тоже первые чины

получал по экзаменам; так куда это трудно! Ну, положим, что вы и выдержите экзамен, что ж будет дальше?

– Я надеюсь получить кафедру профессора.

– Как же, то есть вас сейчас и сделают профессором после экзамена?

– Нет еще... но большая надежда получить.

– Так, стало быть, это пустяки – одни только надежды. Нет, Павел Васильич, на жизнь нельзя так смотреть: жизнь – серьезное дело; пословица говорится: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». Полноте, батюшка, приискивайте-ка здесь место; терять время нечего, вы теперь человек женатый. Вот уж двенадцать часов. Честь имею вас поздравить с Новым годом. Малыш! Дай шампанского! Вот видите, жизнь-то какова: пришел Новый год, нужно бутылку шампанского, а это стоит двенадцать рублей. Вот жизнь-то какова!

Подали бутылку шампанского. Владимир Андреич заставил дочку выпить целый бокал, а Павла стакан, и сам тоже выпил стакан, а вслед за тем, разгулявшись, предложил детям еще, и сам тоже выпил.

– Ну, теперь помиритесь же, да смотрите не ссориться, жить в любви. Юлия! Поцелуй мужа, да крепче, чтоб сердце мое родительское радовалось.

Юлия подошла к мужу и, все-таки нехотя, поцеловала его, но Павел... Вино великое действие оказывает на человека. Он обхватил жену и начал целовать ее. Напрасно Юлия толкала его в грудь, напрасно делала гримасы; он не выпускал ее и целовал ее лицо, шею и грудь.

– Bravo... важно! – говорил старик. – Выпьемте еще по стакану, а ты, Юлия, еще полбокала, непременно. Чокнемтесь!

Павел на этот раз не заставил себя упрашивать, залпом выпил стакан и совершенно ожил.

– Батюшка! Я сделаю все, что вы прикажете! Я готов умереть для Юлии! Юлия! Я вас боготворю.

– А тетка где?

– Тетка у нас.

– Я, Павел, не поеду домой, если тетка у нас, – возразила Юлия.

– Я ее прогоню, я ее в шею вытолкаю, если

хочешь.

– В шею толкать не следует, – заметил Владимир Андреич, – а напишите ей отсюда письмо, в котором попросите ее убираться, куда ей угодно.

– Хоть двадцать напишу, – сказал Павел.

– И прекрасно, – сказал Владимир Андреич, – вот вам бумага.

Павел начал писать, но, написав: «Милостивая государыня Перепетуя Петровна!» – остановился.

– Позвольте мне вам продиктовать, – сказал Владимир Андреич.

– Сделайте одолжение.

Кураев начал: «Давешний ваш поступок, выходящий из всяких границ приличия, поставляет меня в необходимость попросить вас немедленно удалиться из моего дома, в который ни я, ни моя жена в противном случае не можем возвратиться, опасаясь скандальных сцен, столь неприличных и невыносимых для каждого образованного человека».

Павел написал и тот же час отправил это письмо к себе на дом. Бешметев еще часа два сидел у тестя. Допили всю бутылку. В припад-

ке нежности Павел дал слово Владимиру Андреичу отказаться от своей мысли о профессорстве и завтра же начать приискивать себе должность. Возвратившийся слуга донес, что Перепетуя Петровна по получении письма тотчас же уехала.

Павел, возвращаясь с женою домой, обхватил ее, сверх обыкновения, за талию и начал целовать.

– Оставь, пожалуйста, завтра Бахтиарова у нас обедать: он такой милый, так любит тебя!

– Оставлю, душа моя, оставлю, чего я для тебя не сделаю, хоть это, знаешь, для меня...

– Что такое?

– Так, ничего... горько немного...

– Вот какие глупости выдумал!

Приехав домой, они застали священника, который соборовал старуху.

# XIII

## Всякая всячина

Старуха умерла. Смерть ее не произвела на Павла того сильного впечатления, какого бы следовало ожидать по его искренней к ней любви. Герой мой думал о себе, о своем тяжелом и безотрадном положении. Несмотря на свою неопытность, он скоро, и очень скоро, догадался, что жена не любит его, что вышла за него замуж так, может быть для того только, чтоб сделаться дамой, может быть даже, ее принудили к тому. Павел проклинал свою недалёковидность, помешавшую ему узнать чувства Юлии, когда она еще была невестой. «Что теперь мне делать? – думал он. – Буду стараться внушить ей любовь к себе: буду угождать малейшим ее желаниям, прихотям, даже капризам. Постараюсь ей объяснить самого себя». Утвердившись на этой мысли, Павел каждый день просыпался с твердым намерением высказать жене, как он ее любит, как он страдает, видя ее холодность, и объяснить ей, что таким образом жить невозможно в супру-

жестве, – просить ее хоть приневоливать себя и постараться к нему привыкнуть. Но герою моему не только не удавалось вполне объяснить с женою, но даже заговорить об этом. Юлия вечно была занята: она то капризничала и сердилась на Павла, то хлопотала о своем туалете, то принимала гостей или собиралась на бал; и только иногда – что, может быть, случалось не более двух или трех раз – она делалась как бы внимательнее к мужу и заговаривала с ним ласково. Обрадованный Бешметев тотчас приступал к объяснению; но Юлия слушала его довольно невнимательно и почти всегда перебивала просьбой – дать ей денег или познакомиться с каким-нибудь новопроезжим молодым человеком.

Так проходили дни за днями. Павел, как робкий любовник, подмечал каждое слово жены, каждое движение, каждый взгляд ее и старался их перетолковать в свою пользу. «Вот она, кажется, начинает привыкать ко мне и любить меня», – думал он, но тотчас же, вслед за тем, кидался неволью ему в глаза такой поступок Юлии, который очень ясно выказывал не только отсутствие любви, но даже

уважения.

Мучения Бешметева еще не ограничивались этим: он уже ревновал Юлию к довольно опасному человеку, к общему мучителю местных губернских мужей – Бахтиарову. Губернский лев бывал у них довольно часто, но с какой целью, решить было трудно, потому что с Юлией он был только вежлив; но зато сама хозяйка очень много обнаруживала к гостю внимания. Она обыкновенно без всякой скрытности с большим нетерпением ожидала его приезда, с самым глубоким вниманием прислушиваясь к каждому его слову, не пускала его, когда он собирался ехать домой, и ревновала его ко всем городским дамам. В его отсутствие она старалась со всеми говорить о нем и приходила в искренний восторг, говоря о его наружности или припоминая рассказываемые им анекдоты.

Незадолго до смерти старухи Бахтиаров сделался гораздо внимательнее к Юлии и начал бывать у ней без Павла. Я не в состоянии описать тех мучений, которые переживал Бешметев. Несколько раз он думал отказать Бахтиарову от дому; но положит ли этим ко-

нец? Ему очень хотелось расспросить людей, что делает Бахтиаров, когда бывает у жены в его отсутствие; но и этого герой мой не решился сделать из деликатности: ему казалось, что подобными расспросами он унизит и себя и Юлию.

Нечаянный приезд Лизаветы Васильевны значительно успокоил ревность Павла, во-первых, потому что Бахтиаров с первого же дня начал к ним ездить реже и снова сблизился с Масуровым; а во-вторых – Лизавета Васильевна была на этот раз откровеннее и вполне посвятила Павла в тайну своих отношений к Бахтиарову и своих чувствований к этому человеку. Она рассказала брату, как губернский лев с первого ее появления в обществе начал за ней ухаживать, как она сначала привыкла его видеть, потом стала находить удовольствие его слушать и потом начала о нем беспрестанно думать: одним словом, влюбилась, и влюбилась до такой степени, что в обществе и дома начала замечать только его одного; все другие мужчины казались ей совершенно ничтожными, тогда как он владел всеми достоинствами: и умом, и кра-

сотою, и образованием, а главное, он был очень несчастлив; он очень много страдал прежде, а теперь живет на свете с растерзанным сердцем, не зная, для кого и для чего. С юных лет он хотел быть чем-то выше посредственности и, может быть, достигнул бы этого; но люди и страсти испортили его на первых порах. Вот в чем уверял ее Бахтиаров и просил у ней сочувствия, просил ее врачевать его больное сердце своею юною любовью. Лиза сочувствовала, тем более, что это все так возможно, так походит на многих героев романов, которые она читала. Предусмотрительная Перепетуя Петровна заметила любовь племянницы к Бахтиарову и довольно тонко начала с того, что ласково вошла с нею в искреннее объяснение по этому предмету. Доверчивая Лиза призналась тетке, что Бахтиаров говорил ей о любви своей и что она сама его тоже любит. Старая девушка, услышав, какой опасности подверглась ее племянница, всплеснула руками и подняла на целый дом тревогу: разбранила не слишком деликатно Лизу за ее будто бы безнравственные поступки и, призвав сестру и зятя, торжественно

объявила им, что дочь их погибла, потому что ее поймал в свои сети модник Бахтиаров. Старики перепугались и уже всем хором принялись бранить Лизу, толкуя ей, каждый по-своему, что мужчина имеет право говорить о любви только невесте; если же он скажет это не невесте, то тотчас же должен сделать предложение; в противном случае он низкий человек и ищет только одной гибели девушки. В пример приведена была какая-то Машенька Жилова, которую увез музыкальный учитель и потом бросил, а это уморило старика, ее отца, уморило потом и ее самое. Лиза плакала в продолжение всех этих выговоров, плакала и остальной весь день, а к вечеру написала Бахтиарову письмо, в котором, пересказав о случившемся, просила его на другой же день сделать ей предложение и успокоить папеньку, маменьку и ее. На это письмо Бахтиаров на другой день прислал самый страстный ответ, в котором, проклиная судьбу, признавался, что он жениться не может, потому что женат, но умолял Лизу любить его по-прежнему и не проклипать его. Лиза целую неделю после этого открытия не осушала

глаз, но видеть Бахтиарова уже более не хотела. Каждодневные визиты, дюжина самых страстных писем, даже несколько ночных прогулок под окнами со стороны губернского льва остались без всякого успеха. Ему не удалось ни видетсья, ни поговорить с m-ле Бешметевоу. Родственнаа Перепетуа Петровна, чтобы окончательно исправить беду, не замедлила приискать для племянницы жениха в особе Михайла Николаича Масурова. Старики согласились; Лиза тоже согласилась, и через неделю была сыграна свадьба, а через месяц молодые супруги уехали в дальнее имение Масурова, в котором, по его словам, были три каменные усадьбы.

Лизавета Васильевна не переставала любить Бахтиарова. Мужа она не уважала. Встречу ее с Бахтиаровым и дальнейшую тактику с той и другой стороны мы видели уже прежде. В деревню уехала Лизавета Васильевна после свидания с теткою, от которой она узнала все городские толки; но, кажется, главноу причиноу ее отъезда было то, что бедная женщина стала очень бояться самое себя. Живя в деревне, она приходила в состояние пол-

ного отчаяния: ходила в весеннее время по сырой земле в одних башмаках с целью получить горячку; ездила верхом на невыезженных лошадях – и вот теперь расстроила свое здоровье совершенно. Бахтиаров писал к ней несколько писем, над которыми плакала она по целому дню, но не допускала себя прочесть их и даже нераспечатанными отправляла обратно. Но теперь она чувствует себя более способною владеть собою и не допустит Бахтиарова заговорить с нею о любви; но не видеть его совершенно у ней недостает сил.

Вот что рассказала Павлу Лизавета Васильевна.

Что касается до Юлии, то она в настоящее время тоже страдала не менее других. Лишенная правильного, или, лучше сказать, всякого нравственного воспитания, она имела свой идеал мужа, к которому, конечно, никаким образом не мог подходить неуклюжий и неловкий в обращении Павел. Внутренних его достоинств, которые бы могли составить счастье другой женщины, Юлия не могла ни понять, ни оценить. Она вышла замуж, главное, затем, что этот брак выгоден. Но и в этом

отношении она ошиблась: Павел был небогат и нечиновен. Часто она проплакивала почти целые ночи после встречи в обществе с другою какою-нибудь молоденькой дамою в богатом нарядном платье, приехавшею шестерней в карете с чиновным, но не старым еще мужем, с которым обходятся запанибрата все сильные в губернии. Но еще невыносимее были для нее слухи о новых партиях, делаемых ее сверстницами, которые, как она была убеждена, не стоили ее башмака, а между тем выходили за красивых и богатых людей. Кроме того, она, как мы знаем, была влюблена, еще в девушках, в того же счастливца – Бахтиарова, который так жестоко оскорбил ее самолюбие своим невниманием. Выходя замуж, она думала досадить губернскому льву, быть с ним как можно холоднее и ласкаться в его присутствии к Павлу. Все это легко бы было исполнить для Юлии, потому что Бахтиаров бывал у них довольно часто. Но вышло совсем иначе; в присутствии его она сделалась еще холоднее к мужу и как бы невольно заговаривалась с гостем и по целым часам не спускала с него глаз, а недели через две уже

решительно убедилась, что она обожает этого человека, и дала себе слово употребить все средства, чтобы и его заставить полюбить себя. Юлия начала действовать без всякой осторожности: видимо старалась остаться с Бахтиаровым наедине, заговаривала с ним о любви. Однажды, в беседе tete-a-tete[14], Бахтиаров, молча и довольно нецеремонно, взял у Юлии руку и поцеловал ее. М-ме Бешметева хотела было рассердиться, но фронт посмотрел на нее таким убедительным взором, что она только вздохнула. Приехавшая а это время с визитом одна почтенная дама прервала эту сцену. Уезжая, Бахтиаров спросил у Юлии, когда она будет дома одна.

– Послезавтра поутру, – отвечала она.

В продолжение этих двух дней Юлия одумалась и дала себе слово держать Бахтиарова в почтительном отдалении и только влюбить его в себя и заставить его, на досаду прочим дамам, предпочтительно перед всеми заниматься ею одною в обществе. В назначенный день она приняла его в гостиной, с умыслом растворив дверь в соседнюю комнату, в которой сидела горничная и что-то шила. Бахти-

аров заметил эту предосторожность и с кислую гримасою уселся против Юлии. Разговор начался на французском языке. Юлия, в сильном волнении, призналась льву, что она его давно любит, но любовью чистою, что будто бы его не любила так ни одна женщина. Бахтиаров был совершенно спокоен и только немного скучен; впрочем, он уверял Юлию, что он тоже ее любит давно, но жениться на ней не мог по одной тайной причине, холоден с нею был потому, что боялся увлечься бесполезною страстью.

Приезд Лизаветы Васильевны изменил ход происшествий, потому что изменил совершенно Бахтиарова, который стал гораздо реже ездить к Бешметевым и целые дни по-прежнему просиживал у Масуровых; с Юлией же он более не заговаривал о любви.

Истинно страдала бедная Юлия, терзаемая досадою, любовью, обиженным самолюбием и ревностью. Не видя почти целую неделю Бахтиарова, она решилась написать ему письмо на французском языке, которое и имею честь представить в переводе:

«Что ты со мною сделал? Я плачу, я уми-

раю, я чувствую все муки ада, потому что не вижу тебя. Если ты меня не любишь, скажи мне, умертви меня, и я тебя буду благословлять, потому что теперь я умираю каждую минуту. О, приди, приди! Дай мне тебя видеть, пересказать тебе все, что я чувствую! А если нет... я умру. Видишь, я забываю стыд, самолюбие и пишу к тебе.

Вся твоя».

Юлия в этом письме хотела поразить Бахтиарова силою страсти, но ни подозрения, ни ревности, ни самолюбия не хотела высказать. Павел в этот день на весь вечер ушел к сестре. Юлия отправила письмо с своей преданной горничной, которая, впрочем, забежав в кухню, не преминула рассказать прочей братии, что барыня послала ее с какою-то записочкой к Бахтиарову. Отправив свое послание, Юлия, в ожидании ответа, без преувеличения начала переживать муки ада. Ей вдруг сделалось стыдно и страшно своего поступка: что, если Бахтиаров не любит ее и только обманывает? Что, если он будет показывать это письмо своим знакомым и об этом узнает весь город и папенька Владимир Андреич?

Юлия расплакалась и молила бога, чтоб ее послание каким-нибудь образом не дошло по своему назначению. Она решилась даже уехать к отцу, побыть у него целый вечер; но... Бахтиаров явился. Юлия задрожала; она даже была не в состоянии отвечать на его обычное приветствие и сидела, как уличенная преступница.

– Вы желали меня видеть, – сказал он, усаживаясь очень близко около хозяйки.

Юлия была не в состоянии ничего отвечать.

– Вы любите меня, – продолжал он, беря ее за руку.

Юлия потихоньку выдернула руку и отодвинулась; но Бахтиаров опять взял ее руку.

– А вы так меня не любите, вы меня обманываете, – проговорила она со слезами на глазах.

– С чего же это вы взяли? Я вас очень люблю, – проговорил лев и хотел Юлию взять за талию.

Но она быстро встала и перешла на другой конец комнаты.

– Я не хочу, чтобы вы так любили меня, –

сказала она.

– Как же вы хотите? – спросил Бахтиаров.

– Я хочу, чтоб вы меня любили, как брат, как друг, чтоб вы только гуляли со мной, говорили; мы станем вместе читать, заниматься музыкой. Я вас люблю чистой любовью.

На слове «чистая любовь» Бахтиаров сделал гримасу.

– Adieu, madame[15] – проговорил он, взявшись за шляпу.

Юлия взглянула ему в глаза.

– Куда же вы? – спросила она.

– Куда-нибудь, – отвечал франт. – Я не могу вас видеть, я не должен даже вас видеть, потому что я слишком страстен, слишком люблю вас. В письме вашем вы гораздо более обнаружили чувств: стало быть, вы меня обманывали...

– Нет, я писала, что чувствовала, ты сам это очень хорошо знаешь.

– Adieu, madame, – проговорил опять Бахтиаров.

– Постой, выслушай меня, – сказала Юлия, взяв его за руку, – разве это не любовь, что я о тебе только и думаю, что ты для меня я не

знаю что такое?

– Право? – спросил Бахтиаров.

Приехавший от сестры Павел остановил дальнейшее развитие их объяснений. Бахтиаров успел уже пересесть в почтительное отдаление от хозяйки. Разговор не начинался, всем было неловко.

Павел на этот раз почти не обратил никакого внимания на то, что застал губернского льва наедине с женою, он думал о бедной Лизавете Васильевне, которая рассказала ему, что Бахтиаров перестал к ним ездить и прислал к ней письмо, которое она, против собственной своей воли, приняла и прочитала. Бахтиаров писал, что он отказывается от свидания с нею, потому что страсть его возрастает с каждым днем; что он уже долее не в состоянии владеть собою и готов, несмотря на ее холодность, при ее муже броситься к ее ногам и молить о любви. После этого письма Бахтиаров целую неделю не бывал у них. Лизавета Васильевна говорила, что она уже привыкла не видеть его, что Бахтиаров сделал это потому, что благороден и не хочет погубить ее. Сказав это, бедная женщина распла-

калась и проплакала целый вечер.

# XIV

## Соперницы

Кураев, наконец, уехал в Петербург, а Павел определился на службу. Случилось это следующим образом: Владимир Андреич, как мы видели еще в первой главе, советовал зятю, не рассчитывая на профессорство, определиться к должности, а потом начал убеждать его сильнее и даже настаивать, говоря Павлу, что семейный человек не то, что холостой, – он должен трудиться каждую минуту и не имеет никакого права терять целые годы для слишком неверных надежд, что семьянину даже неприлично сидеть, как школьнику, за учебником.

– Павел Васильич, – говорил Владимир Андреич своим внушительным голосом, – мы вам отдали дочь не для того, чтобы она терпела нужду; тем более, от чего проистекает эта нужда? Извините меня, просто от вашей лени. Что вы теперь делаете? Ничего! Я вам должен прямо сказать: вы не можете быть профессором, вы, верно, уже все перезабыли;

но вы можете, и по вашим способностям и по вашему воспитанию, быть хорошим чиновником. Полноте, милый мой, выкиньте из головы ваши бредни и завтра же поедemте со мною к доброму и почтенному Назанову; он вас полюбит и выведет в люди.

Павел не возражал тестю, потому что в словах Владимира Андреича, пожалуй, было много и правды. Грустно и тошно сделалось моему герою, когда он попристальнее взгляделся в самого себя и свое положение: заниматься науками он действительно не мог; для чего же он трудился десять лет? Чем вознаграждены эти труды? В обществе он до сих пор не имеет никакого значения, а в домашней жизни... В домашней жизни он мог бы быть счастлив, но Юлия, жестокая Юлия, она решительно не любит его, она не может даже выслушать его, когда он начнет ей говорить о самом себе или даже о чем бы то ни было, не говоря уже о том счастье, которое могло бы возникнуть из взаимной любви, дружеских вечерних бесед, из этой обоюдной угодливости и проч. и проч. Ничего этого не было, а между тем нужда, этот бич даже счастливых

супругов, начала уже ощутительно показываться в их жизни. Деньги были все прожиты, наделано тысячи три долгов, карета сломалась, одну лошадь совершенно испортили – все бы это следовало исправить, а на что? Денег всего пятьдесят рублей, которых едва достанет на неделю. «Бог с ним, с профессорством, – решил Павел, – определяюсь на службу и стану трудиться».

Здесь я должен заметить, что при этих размышлениях Павлу, несмотря на всю его неопытность в практической жизни, невольно пришло в голову: отчего Владимир Андреич сам ничего не дал за дочь, почему все заботы складывает на него, а в то же время решительно не оценивает ни его благородства, ни его любви к Юлии; что Владимиру Андреичу следовало бы прежде внушить дочери, чтобы она любила и уважала мужа, а потом уж и от него требовать строгого и предусмотрительного исполнения обязанностей семьянина.

Но, как бы то ни было, Павел решился служить и на другой же день объявил о своем намерении тестю. Тот сейчас же свез его к Наза-

нову, занимавшему довольно значительное место, который, собственно из одного расположения к Владимиру Андреичу, после нескольких недель испытания и приготовления дал ему место столоначальника. Павел начал работать неутомимо: написанные им доклады и бумаги невольно кидались в глаза отчетливостью, краткостью и ясностью изложения; дела принятого им стола пошли гораздо быстрее и правильнее, одним словом, в какие-нибудь два или три месяца Бешметев успел заслужить, что называется, канцелярскую славу; начали даже поговаривать, что вряд ли начальство не готовит его в секретари. Все эти служебные подвиги герой мой совершил с величайшим усилием над самим собою, или, лучше сказать, над своим сердцем. Он был привычен и способен ко всякому занятию, но трудно было ему просиживать почти целые дни, не видавшись с Юлией: он не знал, что она делает, а главное, его мучило подозрение, не сидит ли у ней Бахтиаров. Как бы желая рассеять себя, он еще прилежнее и внимательнее начинал работать целое утро, целый вечер до поздней ночи. Возвращаясь

домой, находил Юлию постоянно печальною и чем-то расстроенною. Она тоже боролась с своим сердцем. Бахтиаров сдержал свое слово и не бывал у них. М-те Бешметева ровно две недели не давала волю этому бедному сердцу и только посылала к Бахтиарову то за книгами, то за нотами, который все это присылал к ней, но сам не являлся. Наконец, в ней не стало больше силы не видеть его; она написала к нему письмо, в котором умоляла его прийти к ней. Послание это отправлено было с тою же горничной.

Поутру в этот день случилось одно ничтожное и неважное происшествие, имевшее, как увидит читатель, довольно важное последствие. Юлия сбиралась ехать с визитами и велела себе, между прочим нарядом, подать тюлевый воротничок, который и был подан; но оказалось, что надеть этого воротничка не было никакой возможности, потому что он скверно вымыт и еще хуже того выутюжен. Юлия Владимировна очень рассердилась на горничную, которая, в оправдание свое, донесла госпоже, что воротничок этот мыла не она, а ключница Марфа. Юлия Владимировна

позвала Марфу и спросила ее, как она смела так скверно вымыть. Старая и почтенная ключница, очень обижавшаяся тем, что ее заставляют, как простую прачку, полоскать всякую дрянь, объяснила, что она лучше мыть не умеет и что уже она стара, и потому с нее грех спрашивать, как с молоденькой. Юлия, конечно, еще более рассердилась за подобную дерзость и закричала на Марфу, говоря, что она ее заставит мыть хорошо, и назвала ее, в заключение своего монолога, мерзавкою. Марфа с своей стороны тоже очень рассердилась и возразила госпоже, что она не мерзавка, что ее никогда так не называла – царство небесное! – старая барыня и что отчего-де Юлия Владимировна не спрашивает ничего с своего приданного человека, который будто бы уже скоро очумеет от сна, а требует только с людей барина, и что лучше бы-де привести с собою молодых горничных, да и распорядиться ими.

– Вон пошла, скверная! – закричала Юлия Владимировна и плюнула. – Ах ты, негодная! Сегодня же заставлю Павла Васильича наказать тебя. Вон пошла, тебе говорят, – выгони-

те ее вон.

Марфа, не переставая говорить и расплакавшись, ушла в девичью, ворчала целое утро и не явилась даже к столу, говоря, что она оплеванная, а ввечеру отправилась к людям Лизаветы Васильевны. Юлия Владимировна была вспыльчива, но не зла. Когда возвратился Павел, она даже забыла рассказать ему про грубость Марфы, и, кажется, тем бы все и должно было кончиться; но Марфа сидела очень долго у прислуги Лизаветы Васильевны, жаловалась на барыню, рассказывала утреннее происшествие и, к слову, рассказала много кое-чего еще и другого, а именно, что барин хоть ничего и не видит, а барыня-то пришаливает с высоким барином, с Бахтиаровым, что у них переписка, что все будто бы за книжками посылает свою приданную дуру. Ан дело-то не то, вот и сегодня отправлена к нему записочка. Петрушка своими глазами видел в щелку, как они целовались.

— Ведь в него и наша-то влюблена, — заметила горничная Лизаветы Васильевны на слова Марфы и вечером, раздевая барыню, никак не утерпела, чтобы не рассказать ей новости,

сообщенной Марфою, и с некоторыми даже прибавлениями. Лизавета Васильевна, выслушав весь этот рассказ, сначала вспыхнула, а потом страшно побледнела, как будто бы вся кровь бросилась к сердцу.

– Кто же это тебе наболтал? – спросила она.

– Ключница ихняя, она не станет врать; сегодня целый вечер сидела у нас и все, все, что ни есть, рассказала.

– Да отчего же они знают, что у них переписка?

– Ну как, матушка, не знать! Вот и сегодня послала свою горничную опять с записочкою.

– И сегодня? – едва могла выговорить Масурова.

– И сегодня, – отвечала горничная. – А этта так все за книжками будто бы посылала к нему, раза по два в день. Ну, а уж известно, какие книжки-то.

– Все это пустяки; у меня не смейте никому болтать, – проговорила Лизавета Васильевна и выслала горничную от себя.

Несколько минут она не могла прийти в себя, так поразила ее сообщенная горничною новость. «Неужели это правда? – думала она. –

Неужели Бахтиаров обманывал ее? Неужели он такой интриган – он, который был при ней всегда так холоден со всеми другими женщинами? Неужели он влюблен в Юлию и интригует с нею? Нет, это не может быть: они из пустяков обыкновенно выводят свои заключения. Может быть, она так только приветлива с ним, как хозяйка; но эта переписка? Прислуге не придет в голову выдумать о переписке». Вот что думала Лизавета Васильевна, а между тем сердце ее разрывалось на части. Сила любви, говорит Жорж Занд, заключена в нас самих и никак не обуславливается достоинством любимого человека, которого мы сами украшаем из собственного воображения и таким образом любим в нем свой призрак. Лизавете Васильевне Бахтиаров казался чем-то выше всех других людей. Отторгнувшись от его исканий еще до замужества своего, отторгаясь и теперь от них вследствие нравственного инстинкта, она все-таки не переставала любить и уважать его. В своих отношениях с ним она видела что-то поэтически прекрасное; она воображала, что они оба страдальцы, родные по душе, но отторгнутые обстоятель-

ствами, хотя и должны жить далеко друг от друга, но с непрестанною мыслью один о другом, с вечною и неизменною любовью. Вот что она думала прежде; но что же выходит теперь: он обманывал ее, как обманывал другую, третью; можно ли, любя одну, интриговать с другою? В состоянии ли, например, она не только полюбить другого мужчину, — но, боже мой! — даже подумать о другом, кроме него, тогда как он, может быть, теперь, в эту минуту, счастлив с другою, с которою смеется над нею и над ее любовью? Напрасно рассудок говорил бедной женщине, что это не должно ее беспокоить, что, отторгнувшись от Бахтиарова, она не имеет никакого права обзывать его, как мужчину, на верность, что это даже лучше, потому что предохранит ее самое навсегда от падения. Но сердце не слушало, оно тосковало, грустило и ревновало. Приехал Михайло Николаич и, как обыкновенно, немного пьян; он начал было длинный рассказ о том, что кто-то без всяких уважительных причин прибил кого-то стулом. Но Лизавета Васильевна, ссылаясь на болезнь, просила мужа идти в свою комнату. Тот ушел, но

только не в свою комнату, а велел заложить лошадь и опять куда-то уехал.

На другой день поутру, часу в двенадцатом, Масурова отправилась к брату. Я не могу здесь умолчать о том, что единственной причиною этой поездки был рассказ горничной девки. «Я, верно, застаю его у нее, – думала Лизавета Васильевна, – а если нет, то нарочно буду заговаривать о нем и увижу, как она будет себя вести». Приехав к Бешметевым и увидя у крыльца лошадь Бахтиарова, она тихо прошла лакейскую, в которой никого не было, и еще осторожнее пошла по зале. Дверь в гостиную была притворена, и оставалось небольшое отверстие. Лизавета Васильевна не могла утерпеть и, не входя в комнату, заглянула в щель. Все сомнения рушились: Бахтиаров сидел на диване рядом с Юлией, которая одною рукой, опирающейся на стол, поддерживала свою голову, а другою держала затянутую в перчатку руку льва. Она была грустна и в заметном волнении! Что же касается до Бахтиарова, то он тоже смотрел довольно пристально на Юлию, но с каким именно выражением, Масурова не могла уже

заметить, потому что сама едва удержалась на ногах. Дрожащими руками схватилась она за косяк двери и несколько минут пробыла как бы в бессознательном состоянии. Придя несколько в себя, она отошла от двери, начала довольно громко кашлять и с этими уже предосторожностями вошла в гостиную. При входе ее хозяйка сидела у окна за пядьцами, Бахтиаров оставался на прежнем месте. Юлия в смущении поздоровалась с сестрой и просила ее сесть. Несколько минут продолжалось странное молчание.

– А брат где? – спросила, наконец, Лизавета Васильевна.

– Он на службе, – отвечала Юлия. – Как теперь ваше здоровье?

– Мне лучше.

Здесь разговор прекратился на несколько минут.

– Как здоровье Михайла Николаича?

– Он здоров.

И опять разговор прекратился.

– Какое у вас миленькое платье! Где брали?

– У Кривоногова.

– У него все товары со вкусом.

– Нельзя сказать!

Опять молчание, которое прервала уже Лизавета Васильевна.

– Что вы теперь подделываете? – спросила она.

– Ничего особенного, вышиваю подушку.

– А я так ужасно скучаю: книг совершенно нет. Вы, я слышала, та соеиг, берете книги у Александра Сергеича, – сказала Лизавета Васильевна, указав глазами на Бахтиарова.

При этом намеке Юлия вся вспыхнула. Что же касается до губернского льва, то в первую минуту он надулся, но потом на устах его появилась улыбка, как будто бы ему был приятен намек Масуровой. Возобновившийся потом, после непродолжительного молчания, разговор также как-то не вязался, но зато очень много говорили глаза: Бахтиаров, не говоривший почти ни слова, несколько минут пристально смотрел на Лизавету Васильевну, которая, видно, была не в состоянии вынести его взгляда и потупилась; Юлия, по-видимому, глядевшая на свою работу, в то же время прилежно следила за Бахтиаровым и, поймав

его продолжительный взгляд на Масурову, посмотрела на него с неммым укором. Губернский лев тотчас начал глядеть на потолок. Лизавета Васильевна, с своей стороны, тоже все видела и, наконец, встала.

– Куда же вы? – спросила Юлия тем тоном, которым обыкновенно говорят хозяева гостям, когда искрение желают, чтобы они поскорее убирались восвояси.

– Домой. Дети одни. Прощайте, ma soeur, adieu, monsieur, – проговорила Масурова и уехала.

Во всей этой сцене Масурова, как мы видели, по возможности владела собою. Но когда она возвратилась домой, силы ее оставили; бледная, истерзанная, упала она на кресло и долго сидела в таком положении, а потом позвала было к себе Костю, игравшего у окошка бумажною лошадкою, хотела ласкать его, заговаривала с ним, но все напрасно – слезы невольно текли по щекам ее. «Господи!» – проговорила она, оттолкнула от себя ребенка и ушла в свою комнату. Приехал Михайло Николаич и не мог добиться от жены ни одного слова. Она сидела задумавшись и, кажется,

решительно не понимала и не видела, что происходит вокруг нее.

По отъезде Масуровой Бахтиаров и Юлия несколько минут молчали.

– Она все знает, – сказала, вздохнув, Бешметева. – Вот видишь ли, – продолжала она, устремив на Бахтиарова нежный взор, – что я еще сделала? – ничего, а между тем злые люди клеветают на меня. Но я теперь спокойна; совесть меня не укоряет; если бы даже и папенька узнал, я бы и тому сказала, что я люблю тебя, но люблю благородною любовью. Я не понимаю, что у вас, мужчин, за страсть отнимать у женщин спокойствие души, делая из них, чистых и прекрасных, каких-то гадких существ, которых вы сами будете после презирать.

Бахтиаров не обратил, кажется, должного внимания на этот прекрасный монолог, потому что занят был какими-то собственными соображениями, и при последних словах он встал и взялся за шляпу.

– Куда же? – спросила Юлия.

– Нужно. Надо поздравить одного именинника, – отвечал лев.

- Опять меня оставляешь, бог с тобой!
- Нужно. Увидимся.
- Скоро?
- Скоро.
- Постой, два слова. Было у тебя что-нибудь с Масуровой?
- Решительно ничего.
- Лжете вы, monsieur, она в вас влюблена по уши, а теперь ревнует.
- Ты думаешь?
- А ты не видишь будто бы... Ох, какой ты хитрец!
- Adieu, – проговорил франт и, как бы желая загладить свою холодность, взял руку Юлии и крепко поцеловал ее...

Долго, очень долго смотрела Юлия вслед ему и потом в раздумье села за пяльцы, но не могла вышивать, потому что в подобном состоянии только для вида садилась за работу.

Между тем Бахтиаров приехал домой. Здесь я считаю себя обязанным представить читателю моему тот монолог, который произнес он сам с собою, ходя взад и вперед по своему залу. «Чудная эта женщина – Масурова, – думал он, – какие у ней прекрасные манеры!

Насколько она лучше этой Бешметевой! А эта решительно дрянь: в каждом слове, в каждом ее движении так и лезет в глаза провинцией; покуда молчит, еще ничего: свежа... грудь хорошо развита... и, должно быть, довольно страстная женщина... Но Масурова... черт знает что за женщина. Вот три года, как я за ней ухаживал, и как она себя выдерживает! Не может же быть, чтобы это было одно кокетство; ну, а если это проистекает из нравственного чувства, из какого-то прирожденного благородства? Но страннее всего, я сам с нею теряюсь, я не могу быть ни решительным, ни настойчивым, делаюсь каким-то приторным вздыхателем, то есть отъявленным дураком. Сегодня она решительно ревнует. Давно бы мне схватиться за эту мысль. Притворюсь спокойным, заведу у ней под носом интригу, а женщины из ревности, что в переводе значит из самолюбия, решаются на все. Интереснее всего, что и эта госпожа Бешметева толкует о каком-то идеализме».

Затем губернский лев еще глубже начал вглядываться в свое сердце, и нижеследующие мысли родились в его голове: «Я просто

ее люблю, как не любил ни одной еще в мире женщины. Как иначе объяснить, что я по целым вечерам припоминаю то время, когда она была еще девушкой? Что это было за умное и милое существо! Как был я счастлив, просиживая у них в их душевных комнатах целые дни и наслаждаясь только тем, что глядел и любовался на нее! Даже теперь я женился бы на ней и, право, был бы, по возможности, счастлив. Мой расчет верен: какая и в настоящем своем положении она нежная мать и терпеливая жена».

Результатом этих размышлений было то, что Бахтиаров решил ехать к Масуровым.

Время до семи часов показалось ему очень долго; он беспрестанно глядел на часы и, наконец, не дождавшись, отправился в шесть с половиною. В расчете его было не застать Масурова дома, но, сверх ожидания, Михайло Николаич оказался налицо. Увидев Бахтиарова, он искренне обрадовался.

– А, ваше баронство! – вскричал Масуров. – Лиза! Барон приехал. Я вас все зову бароном; у вас в лице есть что-то такое важное... баронское. Милости прошу. Мы с женою часто о вас

говорим. Я вас уж с неделю не видал... Ну, думаю, мой барон, должно быть, какую-нибудь баронессу обхаживает. – Говоря таким образом, Масуров ввел своего гостя в гостиную. Прозвать приятеля бароном Михайло Николаич выдумал экспромтом, от радости, что его увидел. Лизавета Васильевна сидела за самоваром. Она поклонилась гостю довольно сухо.

– Честь имею представить вам господина барона, – говорил Масуров. – Прошу покорнейше к столу. Я надеюсь, что ваше баронство не откажет нам в чести выпить с нами чашку чаю. Милости прошу. Чаю нам, Лиза, самого сладкого, как, например, поцелуй любви! Что, важно сказано? Эх, черт возьми! Я когда-то ведь стихи писал. Помнишь, Лиза, как ты еще была невестой, я к тебе акростих написал:

*Лицом прелестна, как богиня  
Или как будто б сам амур,  
За все, за все тебя я обожаю ныне,  
А прежде все влюблялся в дур.*

Этот акростих Михайло Николаич тоже со-  
здал экспромтом.

– Что, ведь недурно?.. Ну, а ваше барон-

ство, вы, я думаю, переписали акростихов всякого рода: и к Катенькам, и к Машенькам, и к Лизанькам – ко всему женскому календарю. Нынче, впрочем, я очень начал любить Перепетую, потому что имя это носит драгоценная для меня особа, собственно моя тетка. На днях дала триста рублей займа. Что же вы трубки не курите? Малый, дай трубку, вычисти хорошенько, горячей водой промой, знаешь!.. Люблю я вас, Александр Сергеич, ей-богу, славный вы человек!

Бахтиаров поклонился.

– Право, ей-богу, – продолжал Масуров, – я очень склонен к дружбе. Будь я подлец, если не готов вот так, как теперь мы сидим, прожить десять лет в деревне. Жена... приятель, – черт возьми! Чего же больше?

Так говорил без умолку Масуров, очень обрадованный приездом Бахтиарова. Он потом рассказал, что в Малороссии даже и были такие два помещика и жили почти таким образом в деревне, один женатый, а другой холостой, и что прожили, кажется, двадцать лет, никуда не выезжая. Бахтиаров заметно мало слушал хозяина, и все внимание его было об-

ращено на хозяйку. Лизавета Васильевна занималась с сидевшим около нее Костей, с которым случилось весьма печальное приключение: он забил в рот огромный кусок кренделя, намоченный в горячем чае, и обжегся. «Выброси», – говорила мать, но Костя не выпускал и со слезами на глазах продолжал управляться с горячим куском. Наконец, терпения не стало: он заплакал. Мать взяла его к себе на руки и утешала, говоря, что это ничего, что все прошло. Ребенок утешился и, став к матери на колени, начал с нею играть, заливался громким смехом и притопывал ножонками.

Вот на что смотрел с искренним чувством Бахтиаров.

– Юлия Владимировна приехала, – сказал вошедший слуга.

– А! – закричал Масуров и бросился встречать гостью.

Лизавета Васильевна взглянула на Бахтиарова и вышла в залу. В лице губернского льва ясно обозначилась досада.

Здесь я должен вернуться несколько назад. Бешметева, по отъезде Бахтиарова, осталась,

как мы знаем, в странном состоянии духа. Ей очень хотелось скорей его опять увидеть и поговорить с ним. У ней едва достало терпения дожидаться того времени, в которое Павел обыкновенно снова уходил в вечернее присутствие. Наконец время это пришло. Юлия тотчас же написала к Бахтиарову страшно страстную записку, в которой заклинала его прийти к ней на вечер. Воротившаяся горничная донесла, что Бахтиарова нет дома и что он сейчас куда-то уехал со двора. Юлия едва не умерла от досады. Но где ему быть? Куда он уехал? Неужели он отправился к Масуровым? И в сердце Юлии Владимировны забушевало то же чувство ревности, которое, за несколько часов, так сильно мучило Лизавету Васильевну, и она, подобно той, вздумала съездить к невестке и посмотреть, что там делается. Но на лошади уехал Павел. Нетерпение Юлии было слишком сильно. Она не в состоянии была даже подождать экипажа и пешком отправилась к Масуровым. Шла она, видно, очень быстро, потому что, придя в лакейскую, принуждена была сесть и едва уже переводила дыхание.

– Сестрица, прекраснейшая из всех сестриц! – говорил Масуров, целуя ее руку. – Ужасно как я люблю целовать ваши ручки. Что это какие вы бледные? Не опять ли истерика?

– Нет, я пешком пришла... устала. Кто у вас?

– Никого нет, все свои.

– Кто же?

– Один только Бахтиаров.

Юлия вздрогнула, но, впрочем, встала и пошла в залу, где ее встретила хозяйка.

– Вот как я вам скоро отплатила визит – даже пешком пришла. Павел уехал, но мне хотелось пройтись.

Войдя в гостиную, Юлия небрежно кивнула головой Бахтиарову и села на диван. Михайло Николаич не замедлил усесться близ нее.

– Помните, сестрица, как я вас снегом-то оттирал, – начал он. – Вы такие были тогда хорошенькие, что просто ужас...

– А теперь что же? – спросила Юлия.

– А теперь еще лучше – честное слово! Знаете что, сестрица, признаться вам? – продолжал Масуров.

– В чем признаться?

– Я в вас влюблен.

– Право? Отчего же вы давно мне этого не скажете? Бедненький! Мне вас очень жаль.

– А вы, я думаю, кузина, меня терпеть не можете?

– Напротив; вы сами у нас никогда не бываете.

Юлия Владимировна любезничала с Масуровым для того, чтобы досадить Бахтиарову, но, к вящему ее мучению, заметила, что тот почти не обращает на нее внимания и разговаривает вполголоса с Лизаветой Васильевной. Ей очень хотелось к ним прислушаться. Но голос Михайла Николаича заглушал все их слова.

Юлия справедливо желала послушать разговор Бахтиарова с Лизаветой Васильевной, который был весьма многозначителен.

– Я не мог исполнить своего слова и не видеть вас, – говорил вполголоса и с чувством Бахтиаров.

– Вы, верно, приехали к мужу, – отвечала тоже вполголоса Масурова.

– Нет, я приехал вас видеть.

– Merci.

– Позвольте мне опять бывать у вас, видеть вас хоть ненадолго, хоть на минуту.

– Как вы смешны, Бахтиаров!

– Чем же?

– Тем, что – говорите теперь...

Бахтиаров насупился. В это время на него взглянула Бешметева.

– Monsieur Бахтиаров, есть с вами лошадь? – спросила она.

– Есть, – отвечал тот.

– Довезите меня до дому – я пешком.

Бахтиаров несколько минут думал.

– С большим удовольствием, – отвечал он и отошел от Лизаветы Васильевны.

Здесь я должен заметить, что Юлия решилась на опасную и не весьма приличную поездку с Бахтиаровым с целью досадить Лизавете Васильевне. Тот, с своей стороны, согласился на это с удовольствием, имея в виду окончательно возбудить ревность в Масуровой.

После вышеописанной сцены всем сделалось как-то неловко: Лизавета Васильевна потупилась; Бахтиаров сел поодаль и продол-

жал по временам взглядывать на нее. Юлия была в тревожном состоянии и едва могла выслушивать любезности Масурова, который уверял ее, что он никому в мире так не завидует, как Павлу. Через четверть часа Юлия уехала вместе с Бахтиаровым. Масуров очень просил было взять его с собою и позволить ему встать на запятки; но запятки были заняты лакеем. М-ме Бешметева села в экипаж, почти не помня себя от ревности. В противном случае, как я уже и прежде успел заметить, она никак бы не позволила себе сделать подобного неосторожного поступка.

– И после этого вы скажете, что у вас ничего нет с Масуровой? – сказала она, схватив своего обожателя за руку и крепко сжав ее.

– Что же такое у меня с ней?

– Как что? Зачем ты сегодня к ним приехал?

– Так, от нечего делать.

– Послушай, зачем ты меня обманываешь? Если не любишь, скажи мне прямо. Что у тебя за желание терзать и мучить бедную женщину, которая тебя боготворит?

После этих слов Юлия принялась поти-

хоньку плакать.

– Перестаньте, Юлия; вы до безумия ревнивы, – говорил Бахтиаров. – Пойдемте, мы приехали.

Бешметева опомнилась.

– Где мы? – спросила она, заметив, что это был не их дом.

– Выходите, madame, – говорил вышедший уже Бахтиаров.

– Что ты хочешь со мной делать? – почти вскрикнула Юлия. – Ни за что... ни за что в свете! Лучше умру, а не пойду!

Бахтиаров пожал плечами и захлопнул дверцы экипажа.

– К Бешметевым, – сказал он кучеру и, не поклонившись Юлии, ушел в дом.

# XV

## Павел все узнал

Лизавета Васильевна сделалась больна. Болезнь ее была, видно, слишком серьезна, потому что даже сам Михайло Николаич, который никогда почти не замечал того, что делается с женою, на этот раз заметил и, совершенно растерявшись, как полоумный, побежал бегом к лекарю, вытащил того из ванны и, едва дав ему одеться, привез к больной. Врач этот пользовался в городе огромной известностью. Он был человек еще не старых лет, был немного педант в своем ремесле, то есть любил потолковать о болезнях и о способах своего лечения, выражаясь по преимуществу на французском языке, с которым, впрочем, был не слишком знаком. Он щупал несколько секунд пульс больной, прикладывался ухом к ее груди и потом с очень серьезным лицом вышел в гостиную, где, увидев Масурова с слезами на глазах, сказал:

– У ней воспаление в легких.

– Что же, это опасно? – спросил Масуров.

– Как вам сказать? – каков будет исход болезни; но вот видите, я бы желал, главное, знать основную причину болезни. Позвольте мне с вами переговорить.

– Сделайте милость, – отвечал Масуров.

– Во-первых, я вам объясню, что воспаление в легких есть двоякое: или чисто чахоточное, вследствие худосочия, и в таком случае оно более опасно, но есть воспаление простое, которое условливается простудою, геморроидальною посылкою крови или даже часто каким-нибудь нравственным потрясением, и в этом случае оно более излечимо; но дело в том, что при частом повторении этих варварских воспалений может образоваться худосочие, то есть почти чахотка. Теперь позвольте вас спросить: супруга ваша золотушна?

На этот вопрос Михайло Николаич решительно ничего не мог отвечать.

– Не жаловалась ли она по крайней мере часто на грудную боль?

Михайло Николаич сказал, что жена больше жаловалась на головную боль.

Врач задумался.

– Не было ли у них прежде кашля, крово-

харкания? – спросил он.

Михайло Николаич не знал и этого. Лизавета Васильевна никогда не говорила мужу о своих болезнях.

– Впрочем, я вам скажу, – продолжал доктор, – что способы лечения одинаковы, но мне хотелось бы основательнее узнать, потому что я поставляю себе за правило – золотушные субъекты, пораженные легочным воспалением, по исходе воспалительного периода излечивать радикально, то есть действовать против золотухи, исправлять самую почву.

Блеснув таким образом перед Масуровым медицинскими терминами, врач велел пустить больной кровь, поставить к левому боку шпанскую мушку и прописал какой-то рецепт.

Масуров всю ночь не спал, а поутру послал сказать Павлу, который тотчас же пришел к сестре. Михайло Николаич дня три сидел дома, хоть и видно было, что ему очень становилось скучно: он беспрестанно подходил к жене.

– Ну, ведь тебе лучше, Лиза? Ведь ты, по

виду-то, ей-богу, совсем здорова. Хоть бы посидела, походила, а то все лежишь. Встань, душка: ведь лежать, ей-богу, хуже. Вот бы вышла в гостиную, посидела с братцем; а я бы съездил – мне ужасно нужно в одном месте побывать.

Лизавета Васильевна улыбалась.

– Да ты поезжай.

– Нет, душа моя, – я дал себе слово, покуда ты лежишь, ни шагу из дому. Павел Васильич, сделайте милость, сядемте в бостончик, я вас в две игры выучу, или вот что: давайте в штос – самая простая игра.

Павел не решался играть ни в бостончик, ни в банк, говоря, что он ненавидит карты. Михайло Николаич от скуки принялся было возиться с Костей на полу, но и это запретил приехавший доктор, говоря, что шум вреден для больной. Масурову сделалось невыносимо скучно, так что он вышел в гостиную и лег на диван. Павлу, который обыкновенно очень мало говорил с зятем, наконец сделалось жаль его; он вышел к нему.

– Каким образом сестра захворала? – спросил Бешметев.

– Должно быть, простудилась, – отвечал Масуров, – я уж это и не помню как; только была у нас вот ваша Юлия Владимировна да Бахтиаров, вечером сидели; только она их пошла провожать. У Юлии-то Владимировны лошади, что ли, не было, – только она поехала вместе с ним в одном экипаже.

– С кем? – спросил, вспыхнув, Павел.

– С Бахтиаровым; а Лиза вышла провожать их на крыльцо, да, я думаю, с час и стояла на улице-то. Я и кричал ей несколько раз: «Что ты, Лиза, стоишь? Простудишься». «Ничего, говорит, мне душно в комнате». А оттуда пришла такая бледная и тотчас же легла.

– А в котором часу Юлия уехала? – спросил Павел.

– Да очень еще рано – только что мы чай отпили, ну, ведь вы знаете, весна, время сырое. Я помню, раз в полку, в весеннюю ночь, правду сказать, по любовным делишкам, знаете... да такую горячку схватил, что просто ужас. Ах, черт возьми! Эта любовь! Да ведь ужас и женщины-то! Они в этом отношении отчаяннее нас – в огонь, кажется, полезут!

Павел на этот раз очень недолго оставался

у сестры и скоро ушел домой.

Прошла неделя. Лизавете Васильевне сделалось лучше. Доктор объявил, что воспаление перехвачено. Услышав, что у ней уже с полгода есть небольшое кровохаркание, и прекратив, как он выражался, сильное воспаление, он хотел приняться лечить ее радикально против золотухи. Между тем Павел день ото дня делался задумчивее и худел, он даже ничем почти не занимался в присутствии, сидел, потупя голову и закрыв лицо руками. Его мучила ревность... страшная, мучительная ревность. Случайно сказанные слова Масуровым, что Юлия уехала от них в одном экипаже с Бахтиаровым, не выходили у него из головы. Через несколько дней борьбы с самим собою он, наконец, решился спросить об этом жену.

– Вы на днях от сестры приехали с Бахтиаровым?

– Да, он довез меня в своем экипаже, – отвечала Юлия совершенно спокойным голосом.

«Или она дьявол, или она невинна! Я бы на ее месте при таком вопросе умер от стыда», –

подумал Павел и уже не расспрашивал более жены. Подозрения его еще более увеличились от некоторых вопросов Лизаветы Васильевны – так, например, она спрашивала: «Кто у них часто бывает? Нельзя ли Павлу переменить место и ехать в Петербург, потому что в здешнем городе все помешаны на сплетнях и интригах», – а также и от некоторых замечаний ее, что Юлия еще очень молода и немного ветренна и что над нею надобно иметь внимательный надзор. Благородная Лизавета Васильевна была не в состоянии сказать брату прямо того, что она знала; но, с другой стороны, ей было жаль его, ей хотелось предостеречь его. «Но к чему это поведет? – думала она. – Может быть, зло пройдет, и он не узнает». А что думала о самой себе, на это может отвечать ее болезнь.

Наконец, у Павла неостало более силы переживать свои мучительные сомнения. «Скажу, что пойду на целый вечер к сестре, а сам возвращусь потихоньку домой, – он, верно, у ней, – и тогда... тогда надобно будет поступить решительно; но, боже мой! как бы я желал, чтоб это были одни пустые подозрения».

Вот что думал герой мой, возвращаясь домой обедать. Придя к себе, он боялся взглянуть на Юлию: ему было совестно ее, ему казалось, что она уже знает его намерение и заранее оскорбляется им. Юлия была действительно в этот день чем-то очень встревожена.

– Ты рано ли сегодня придешь? – спросила она Павла.

– По обыкновению, – отвечал Павел.

У него едва достало силы проговорить это слово.

Читатель, конечно, догадывается, что Павел не занимался в присутствии своими делами и сидел насупившись.

– Зачем это вы, Павел Васильич, ходите, когда у вас голова болит? – сказал молодой писец. – И нам бы полегче было, и мы бы не пришли – у нас очень мало дел-то.

– Я сегодня уйду рано: у меня очень голова болит, – отвечал Павел.

– Павел Васильич, и мне нужно уйти, у меня дяденька именинник.

– Вишь какой подхалим, вечно выпросится, – подхватил другой, необыкновенно белокурый и страшно рябой писец.

Павел ушел через полчаса. Он шел домой быстро и, кажется, ничего ясно не сознавал и ничего определительно не чувствовал; только подойдя к дому, он остановился. Не лучше ли вернуться назад и остаться в счастливом неведении! Но как будто бы какая внешняя сила толкала его. «Что будет, то будет», – подумал он и вошел в лакейскую, в твердом убеждении, что непременно застанет Юлию в объятиях Бахтиарова. Он прошел залу – в ней было темно; прошел гостиную – и там темно. Весь дом был пуст, только в девичьей светился огонек. Павел вошел туда.

– Никого нет дома? – спросил он.

– Никого-с, – отвечала, встав на ноги, Марфа.

Павлу очень хотелось спросить, где барыня, но он опять не решился.

– Дайте мне свечку в гостиную, – проговорил он каким-то странным голосом и вышел из девичьей.

Свеча была подана.

«Где же она? – подумал он. – Я непременно должен спросить: где она? Есть же на свете люди, которые сделали бы это не думав».

– Марфа! – закричал Павел необыкновенно громким голосом.

Марфа предстала.

– Есть какое-нибудь там вино?

– Есть, Павел Васильич, – мадеры, что ли, прикажете?

– Давай мадеры!

Марфа принесла целую бутылку и рюмку, но Павел потребовал стакан и, не переводя духу, выпил стакана три. Вино значительно прибавило энергии моему герою. Посидев несколько минут, он неровным шагом вошел в девичью и позвал Марфу в гостиную; Марфа вошла за ним с несколько испуганным лицом.

– Где барыня? – спросил Павел, не подымая глаз на служанку.

– Я не знаю, батюшка.

– Врешь, ты знаешь... где барыня?

– Батюшка, Павел Васильич! Наше дело рабское.

– Где барыня? – повторил Павел.

– Павел Васильич! Я маменьке вашей служила, я не могу вам льстить. Оне изволили уехать, батюшка Павел Васильич.

– Куда?

– Наше дело подчиненное, вы со мной можете все делать, а я скрыть не могу, потому что я маменьке вашей служила и вам служу.

– Куда же она уехала, тебя спрашивают?

– Оне изволили уехать, Павел Васильич, не в доброе место. Горько нам, батюшка Павел Васильич, мы не осмеливались только вам докладывать, а нам очень горько.

– Говори все!

– Если вы изволите приказывать, я не смею ослушаться, – оне изволят быть теперь у Бахтиарова. Я своими глазами видела – наши пролетки у его крыльца. Я кучеру-то говорю: «Злодей! Что ты делаешь? Куда барыню-то привез?» «Не твое, говорит, дело, старая чертовка»; даже еще выругал, разбойник. Нет, думаю я, злодеи этакие, не дам я господина своего срамить, тотчас же доложу, как приедет домой!

Через несколько минут Павел уж был близ квартиры Бахтиарова. Пролетка его действительно стояла у крыльца губернского льва. Кучер, разобидевший Марфу, полулежал на барском месте и мурлыкал тоненьким голос-

ком: «Разлапушка-сударушка».

– С кем ты здесь? – проговорил Павел, быстро подойдя к нему, и толкнул его в бок.

Кучер вскочил, вытянулся и побледнел.

– С кем ты здесь? – повторил Павел.

– Я-с... на лошади-с... – отвечал кучер.

– Где барыня? – сказал Павел.

– Не могу знать, Павел Васильич, – отвечал кучер.

– Где барыня? – закричал уже Павел и, схватив кучера за ворот, начал с несвойственной ему силою его трясти.

– Батюшка Павел Васильич, я не могу ничего знать! Они изволили сюда уйти.

Павел выпустил его из рук и несколько минут глядел на него, как бы размышляя, убить ли его или оставит!? живым; потом, решившись на что-то, повернулся и быстрыми шагами пошел домой. Дорогой он напрямик прорезывал огромные лужи, наткнулся на лоток с калачами и свернул его, сшиб с ног какую-то нищую старуху и когда вошел к себе в дом, то у него уж не было и шляпы. Кучер остался тоже в беспокойном раздумье...

– Вот что, – проговорил он, почесывая за-

тылок, – пожалуй, ведь и в части высечет. Вот тебе и синенькая. Эка чертова оказия вышла!

Придя домой, Павел тотчас же написал к жене письмо следующего содержания:

«Я знаю, где вы. Там вы, с вашим любовником, конечно, счастливее, чем были с вашим мужем. Участь ваша решена: я вас не стесняю более, предоставляю вам полную свободу; вы можете оставаться там сегодня, завтра и всю жизнь. Через час я пришлю к вам ваши вещи. Я не хочу вас ни укорять, ни преследовать; может быть, я сам виноват, что осмелился искать вашей руки, и не знаю, по каким причинам, против вашего желания, получил ее».

Написав это письмо, Павел несколько минут сидел на одном месте, потом встал, быстро вошел в комнату матери, которая сделалась его кабинетом, и взглянул на бритвенный ящик... Но в это время что-то стукнуло. Павел вздрогнул, обернулся, и глаза его остановились на иконе божьей матери, перед которой так часто молилась его мать-старуха. Он бросился перед образом на колени. Выражение лица его умилилось, спасительные слезы полились из глаз. Долго, и как бы забыв

все, молился Павел, а потом, заметно уже успокоившись, вышел в гостиную, позвал к себе горничную Юлии и велел ей собрать все вещи жены.

Чтобы хоть несколько оправдать совершенно неприличный поступок Юлии, я должен вернуться назад и объяснить нижеследующие обстоятельства.

Мы видели уже, как в последний раз расстался Бахтиаров с Юлией. В продолжение целой недели он не ездил к Бешметевым, но, видимо, беспокоился о здоровье Лизаветы Васильевны, потому что каждый день стороной наведывался о ней. Напрасно Юлия посылала к нему за книгами, писала к нему полные отчаяния записки: Бахтиаров книги присылал, но сам не ехал и приказывал сказать, что он болен и никуда не выезжает. «Я пойду к нему; для его здоровья я решусь на все! Пусть он поймет, как я его люблю, – может быть, он, бедненький, умирает теперь, и я должна забыть все». Приняв такое намерение, Юлия, как и прежде, начала переживать муки ада. Не сознавая почти ясно того, что делает, призвала она кучера, дала ему ни с того ни с сего

пять рублей на водку, а часов в шесть вечера, велев заложить лошадь и выехав из дому, приказала везти себя к Бахтиарову. Дорогой, впрочем, она придумала: «Приду, взгляну на него, скажу ему, что я пожертвовала для него всем, чтобы только видеть его, и тотчас же уеду домой».

Между тем как Юлия принимала и исполняла свое намерение, губернский лев, как говорится, проводил этот день глупо. Поутру он встал, от скуки ли, или от чего другого, в дурном расположении духа и часу до двенадцатого хандрил, а потом придумал, для рассеяния, угостить свою особу завтраком на крепкую руку. Вследствие чего призван был повар, который объявил, что у него готовится необыкновенного свойства бифштекс, который и был тотчас же спрошен, и к оному потребованы бутылки две вина. Часу ко второму пополудни все это было употреблено дочи-ста, а затем, пообедав, насколько достало сил, Бахтиаров под пасмурную погоду заснул и часу в шестом проснулся уже в совершенно дурном состоянии духа и с невероятною жаждой, которую он и решил утолить холод-

ным шампанским с сельтерскою водой. В это самое время лакей доложил, что приехала какая-то дама. Бахтиаров едва успел запахнуть надетое на нем широкое пальто, как явилась Юлия. Она вошла немного сценически, как входят трагические актрисы в последних актах драм.

– Ты, конечно, не ждал меня, – сказала она, беря франта за руку, – но я пришла, чтоб видеть тебя, – продолжала она, усаживаясь на диван и устремляя на льва отчаянно нежный взор.

Не знаю, что думал Бахтиаров; но только несколько минут он глядел на гостью с довольно странным выражением.

– Неужели ты и теперь сомневаешься в моей любви?

– Юлия! Я вас очень рад видеть, – проговорил, наконец, хозяин, – позвольте, впрочем, я скажу, чтобы никого не принимали.

И вслед за тем, вышед на несколько минут, он вернулся к своей гостье и уселся рядом с нею.

– Право, вы очень милы, – продолжал он, – что решились посетить меня в моей хандре.

Долой вашу шляпу и давайте ваши ручки, – они удивительно хороши.

– Я к тебе на минуту; я хотела только тебя видеть, и прощай.

– Вот пустое! Куда вам торопиться-то? Кто может знать, что вы у меня?

– Я сама знаю, какие я глупости делаю, и никогда себе этого не прощу.

– Пустое вы говорите, Юлия! Какие это глупости. Малыш! Давай нам скорей шампанское и воду. Выпейте со мною вина, я сегодня в удивительном расположении духа пить вино.

– Но ты ведь болен, друг мой, – может быть, тебе это будет вредно.

– Мне вино никогда не бывает вредно. Мы с вами будем пить вместе.

– Я не могу.

– Вот пустяки. А если я буду просить у вас как жертвы?

– Если требуешь как жертвы – изволь; но только сейчас же поедем ко мне.

– Хорошо.

Вино было подано.

В это самое время подано было также и письмо Павла к Юлии, которая, прочитав его,

побледнела и передала Бахтиарову. Тот, в свою очередь, тоже заметно сконфузился.

– От кого же он узнал? – проговорил он после нескольких минут размышления.

– Я не знаю, – отвечала Юлия.

Бахтиаров вошел в залу. Стоявший в лакейской кучер объяснил ему все.

– Он сам здесь был у крыльца, – сказал Бахтиаров, возвратившись к совершенно растерявшейся Юлии.

– Что мне теперь делать? – спросила она.

– Вам надобно ехать.

– Я боюсь, Александр, – возразила Юлия, – поедем вместе со мной; скажем, что мы катались и я к тебе заехала на минуту.

– Вот прекрасно! Вы хотите, чтобы при вас же была дуэль.

– Ах, я боюсь, Александр!

– Что ж вы боитесь?

– Я не знаю. Я прежде его никогда не боялась. Если он, меня убьет?

– Вот что выдумала! Много что побранитесь, еще сами прикрикните на него и скажите, в самом деле, что катались.

– Я скажу, что тебе дала лошадь, а сама где-

нибудь была.

– Ну и чудесно.

Юлия встала, надела шляпку, но остановилась; ей, видно, очень не хотелось ехать.

– Ах, Александр! До чего ты меня довел! Что теперь со мною будет?

– Вы сами очень неосторожны, Юлия.

– Вот прекрасно! Я же виновата. Ты ужасный человек; ты решительно не понимаешь меня. Как же мне быть осторожной, когда я одним только тобою дышу, когда ты моя единственная радость? Я ненавижу моего мужа, я голоса его слышать не могу! Что же мне делать? Научи меня, как разлюбить тебя.

– Можно любить и быть более скрытною.

– Нет, Александр, я не могу скрываться, я сегодня же скажу ему, что я люблю тебя, и пусть он делает, что хочет, – пусть убьет меня, пусть прогонит. Я решительно не могу без тебя жить. Друг мой, милый мой! Возьми меня к себе, спаси меня от этого злодея; увези меня куда-нибудь, – я буду служить тебе, буду рабою твоею.

– Все это иллюзии; вы, Юлия, еще слишком молоды.

– Нет, друг мой, это не иллюзии, а любовь. Послушай, если муж меня прогонит, разве ты не обязан меня взять к себе? Разве ты уже не отнял теперь у меня доброго имени?

– Вам пора ехать, Юлия.

– Если он меня прогонит или будет кричать, я сегодня же приду к тебе. Я не в состоянии с ним жить.

Бахтиаров ни слова не сказал на это. После нескольких минут нерешительности Юлия уехала.

– Черт возьми! – проговорил сам с собою губернский лев. – Эта сумасшедшая женщина, пожалуй, навяжется мне на руки. Она совершенно как какая-нибудь романическая героиня из дурацкого романа. Надобно от нее решительно отвязаться. Я предчувствую, что она сегодня непременно придет. Уехать разве куда-нибудь? Так завтра приедет; надобно как-нибудь одним разом кончить. Напишу я к ней записку и отдам Жаку, чтобы вручил ей, когда пожалует. Даже комнаты велю запереть, чтобы в дом не пускали, а то, пожалуй, усядется да станет дожидаться.

Решив таким образом, Бахтиаров тотчас

же написал записку к Юлии:

«Я не могу принять вас к себе, потому что это повлечет новое зло. Муж ваш узнал, – следовательно, наши отношения не могут далее продолжаться. Увезти вас от него – значит погубить вас навек, – это было бы глупо и бесчестно с моей стороны. Образумьтесь и помиритесь с вашим мужем. Если он считает себя обиженным, то я всегда готов, как благородный человек, удовлетворить его».

Бахтиаров позвал человека, оделся, отдал ему записку и велел передать ее Юлии, если она приедет; про себя велел сказать, что он уехал на несколько дней и приказал запереть комнаты.

Догадливый Жак смекнул, в чем дело. Он тотчас же запер двери и, закурив сигарку, уселся на рундуке крыльца.

– Матушка Юлия Владимировна! Ваше высокоблагородие! Заступитесь за меня, сделайте божескую милость, примите все на себя: вам ведь ничего не будет. Я, мол, его через силу заставила. Ваше высокоблагородие! Заставьте за себя вечно бога молить!

Все это говорил кучер, везя Юлию домой,

которая и сама была в таком тревожном состоянии, что, кажется, ничего не слышала и не понимала, что вокруг нее происходит; но, впрочем, приехав домой, она собралась с духом и довольно смело вошла в гостиную, где сидел Павел.

– Что это такое значит ваше письмо? – проговорила она, снимая шляпку и садясь на диван.

Павел, видно, не ожидавший жены, встал в недоумении при ее приходе, а при последних словах решительно остолбенел.

– Я ездила прокатиться и заехала к нему – велика важность! – У него часто бывают дамы.

– Юлия! Вы так молоды и так... – начал Павел.

– Что такое?

– И уж так бесстыдны!

– Сам ты, бесстыдный человек, выдумал какую историю! Мало ли чего вам наскажут ваши люди!

– Я вам писал и теперь повторяю: я не могу с вами жить.

Юлия посмотрела на мужа.

– Что ж! Вы хотите меня прогнать?

– Не прогнать, а предоставить вам полную свободу, – вы можете сейчас же ехать, куда вам угодно.

– Вы этого не можете сделать – я ваша жена, вы должны меня содержать.

– Я вас обеспечу, дам вам содержание, но жить с вами не хочу.

– Ах, боже мой! Как вы меня испугали! Я очень рада, – сделайте милость, только обеспечьте меня.

– Я это знал и потому прошу вас сейчас же ехать.

– Что такое?

– Я сейчас вас прошу выехать из моего дома.

– Куда ж я поеду?

– Куда угодно.

– Что ж, ты с ума сошел или пьян?

– Я не сошел с ума и не пьян, но повторяю вам, что вы должны сию же секунду оставить меня, – деньги и все ваши вещи собраны.

– Смотри, что выдумал; я думала, что он так говорит. Ах ты, дрянь!

– Вы можете браниться, сколько вам удоб-

но, потому что такой женщине все прилично.

– Какая же я, по вашему мнению?

– Развратная и бесстыдная.

– Так вот же тебе за это! – вскрикнула

Юлия и плюнула на мужа.

Павел побледнел и затрясся.

– Послушай, глупая женщина, я добр, но могу быть и бешен.

Глаза его горели, на губах показалась пена.

Юлия отскочила и упала на кресло.

– Он меня убьет! Люди! Люди! Он меня убьет!

Прибежало несколько человек, но Павел был уже в зале и, схватив себя за волосы, как полоумный, прижался к косяку.

– Я не могу с ним жить, он меня убьет сегодня же ночью! Где мои вещи? Подайте их сюда! Я сейчас еду. Женился насильно, да еще убить хочет; я завтра же к папеньке напишу письмо. Если б я даже любила Бахтиарова, что ж такое? Не тебя же любить. Благородный человек скрыл бы. Велите заложить лошадей, я сейчас еду, а завтра напишу папеньке письмо, бумагу подам и вытребую себе следующую часть.

– Вы будете получать и без бумаги приличное от меня содержание, – отвечал Павел из залы.

Юлия надела шляпку, забрала свои вещи и вместе с горничною куда-то уехала. Но через полчаса она явилась. И в этот раз она уже едва вошла в залу. Горничная вела ее под руку. Войдя в гостиную, Юлия приостановилась и, вырвавшись из рук служанки, совершенно без чувств упала на пол. Павел, услышав стук, вошел в гостиную и увидел Юлию почт» мертвую на полу. Служанка бросилась принести спирт и позвать прочих, чтобы поднять барыню. Бешметев на этот раз решительно не обеспокоился обмороком жены и возвратился к себе в комнату.

Юлия пришла в себя, но истерическое состояние еще продолжалось. Она плакала навзрыд, и, несмотря на то, что стоны ее доходили до ожесточенного супруга, он не только не пришел к ней помириться, но, напротив, послал к ней горничную и велел спросить ее, когда она его оставит. Служанка не решалась передать этого барыне. Но Павел написал жене записку, в которой прямо просил ее вы-

ехать из его дома. Юлия на это отвечала ему словесно, что он дурак, что она, назло ему, нарочно не поедет и что если он хочет, так пусть сам убирается вон.

Этим объяснением кончился роковой для моих супругов день.

# XVI

## Бахтиаров

До сих пор я имел честь представлять губернского льва или в обществе, или в его интересных беседах с дамами, или, наконец, излагал те отзывы, которые делали о нем эти дамы; следовательно, знакомил читателя с этим лицом по источникам весьма неверным, а потому считаю нелишним хотя вкратце проследить прошлую жизнь, в которой выработалась его представительная личность, столь опасная для местных супругов. Отец его был помещик двух тысяч душ. До пятидесяти лет прожил он холостяком, успев в продолжение этого времени нажить основательную подагру и тысяч триста денег; имение свое держал он в порядке и не закладывал, развлекался обыкновенно псовой охотой и двумя или тремя доморощенными шутами, и, наконец, собирал к себе раза по три в год всю свою огромную родню и задавал им на славу праздники. Но под старость, к ужасу своей родни, мечтавшей уже о грядущем после него на-

следстве, он женился на молоденькой французенке, жившей в гувернантках у его соседа. Первым и единственным плодом этого брака был наш губернский лев. Несмотря на обидные толки обманутой в ожиданиях родни, ребенок, заимствовав от матери черные глаза и нежную кожу, видимо, наследовал крепкие мышцы и длинный рост папенька. Не минуло еще ребенку семи лет, как старик-отец умер. Бахтиарова тотчас же переехала в Петербург, чтобы заняться воспитанием сына. Еще десяти лет Саша, красивый как амур, щегольски танцевал всевозможные танцы, говорил на трех языках, ездил мастерски верхом и дрался на рапирах. Дальнейшее воспитание сына Бахтиарова вздумала докончить в Париже. Услышав это намерение, вся родня пришла в отчаяние, пророча, что сиротка сам непременно будет года через три парижским ветошником, потому что матушка, конечно, не замедлит промотать все состояние с каким-нибудь своим старым любовником. Злопророчество это отчасти начало сбываться, потому что Бахтиарова, тотчас же по приезде в Париж, отдала сына одному дальне-

му ее родственнику, профессору какой-то парижской школы, с видимою целью свободнее насладиться удовольствиями парижской жизни. Двадцать тысяч в один месяц утонуло в модных магазинах, и, может быть, к концу года к этому числу прибавился бы еще нуль, но судьба берегла сироту. Француженка простудилась на одном гулянье и умерла тифом. Саша остался в полном распоряжении своего наставника, который был по породе и по душе истый немец. Систему воспитания он имел свою, и довольно правильную: он полагал, что всякий человек до десяти лет должен быть на руках матери и воспитываться материально, то есть спать часов по двадцати в сутки, поедать невероятное количество картофеля и для укрепления тела поиграть полчаса в сутки мячиком или в кегли, на одиннадцатом году поступить к родителю или наставнику, под фериулой которого обязан выучить полупудовые грамматики и лексиконы древнего мира и десятка три всякого рода учебников; после этого, лет в восемнадцать, с появлением страстей, поступить в какой-нибудь германский университет, для того чтобы

приобрести факультетское воспитание и насладиться жизнью.

Такого рода системе воспитания хотел подвергнуть почтенный профессор и сироту Бахтиярова; но, к несчастью, увидел, что это почти невозможно, потому что ребенок был уже четырнадцати лет и не знал еще ни одного древнего языка и, кроме того, оказывал решительную неспособность выучивать длинные уроки, а лет в пятнадцать, ровно тремя годами ранее против системы немца, начал обнаруживать явное присутствие страстей, потому что, несмотря на все предпринимаемые немцем меры, каждый почти вечер присутствовал за театральными кулисами, бегал по бульварам, знакомился со всеми соседними гризетками и, наконец, в один прекрасный вечер пойман был наставником в довольно двусмысленной сцене с молоденькой экономкой, взятою почтенным профессором в дом для собственного комфорта. Убедившись решительно последним обстоятельством в присутствии страстей в молодом воспитаннике, немец решился отравить его в один из германских университетов. Юноша, с своей сто-

роны, очень этому обрадовался, потому что немец, а главное дело, его кухня, несмотря на привлекательную экономку, страшно ему надоели, и таким образом месяца через два он уже был в Германии.

Наставник снабдил Бахтиарова целую дюжиной рекомендательных писем к знаменитым ученым. Но он не явился ни к одной из них и даже, может быть, не поступил бы и в университет, если бы еще существовавшая в то время бурша не подействовала сильно на его воображение. Он тотчас же переменял модный парижский фрак на полуиспанский колет, запасся лосиной курткой и рапирами, начал выпивать невероятное количество пива, курить крепкий кнастер и волочиться за немками. Прошло два года. Бахтиаров по слуху узнал философские системы, понял дух римской истории, выучил несколько монологов Фауста; но, наконец, ему страшно надоели и туманная Германия, и бурша, и кнастер, и медхен[16]; он решился ехать в Россию и тотчас же поступить в кавалерийский полк, – и не более как через год из него вышел красивый, ловкий и довольно исполнительный

офицер.

Обеспеченность состояния, прекрасные манеры и почти ученое воспитание сблизили Бахтиарова на дружескую ногу с некоторыми из его аристократических товарищей. Но честолюбивому корнету хотелось более – ему хотелось попасть в тот заветный круг, в котором жили его друзья, посмотреть поближе на тех милых женщин, о которых они беспрестанно говорили и в которых были влюблены. Его представили, но замечен он не был. Бахтиаров, впрочем, принадлежал к числу тех людей, которые не отступятся от своего намерения при первой неудаче. Он поклялся заставить себя заметить и с этой целью вздумал удивить Петербург богатством: покупал превосходные экипажи, переменял их через месяц, нанял огромную и богатую квартиру и начал давать своим породистым приятелям лукулловские обеды, обливая их с ног до головы шампанским и старым венгерским.

Слух о невероятных издержках его достиг до будуаров, его стали замечать, остроумие его начало смешить; и таким образом прошло три года. Но между тем как честолюбивый

корнет предавался обаяниям общества, в котором все так льстило его самолюбию, так приятно развлекало, так умно и так ловко умело заинтересовать и ум его и сердце, родительское состояние приходило к обычному концу, то есть к продаже за долги с аукционного торга. Бахтиаров был слишком умен, чтобы дойти донельзя. Рассчитав в одно прекрасное утро, что он уже никак не может жить долее таким образом, решил сразу переменить образ жизни и, убедя почти вполне своих приятелей, что он в сплину и что ему все надоело, скрылся из общества и принялся, для поправления ресурсов, составлять себе выгодную партию.

Звезда его еще не угасла. Он успел сыскать себе, сообразно с своими планами, невесту. Это была богатая купеческая вдова, некогда воспитанная, по воле родителей, в каком-то пансионе и потом, тоже по воле родителя, выданная за купца с бородою, который, впрочем, умер от удара, предоставив супруге три фабрики и до миллиона денег. Пять лет купчиха вдовствовала, питая постоянно искреннее желание выйти замуж за молодого, кра-

сивого и здорового офицера. Всем» этими качествами в избытке владел Бахтиаров, и потому не удивительно, что он очень скоро успел в своих исканиях и получил, по совершении брака, сверх титула супруга, тысяч пятьдесят на собственные его расходы. Как ни выгоден был этот брак, но все-таки честолюбие корнета, принадлежавшего некогда к иному кругу, должно было сильно пострадать; потому на другой же день брака, к ужасу богатой вдовы, он подал в отставку, с намерением тотчас же переехать в Москву. Как молодая супруга ни убеждала не снимать мундира, который к нему так шел, он его снял, и таким образом через несколько месяцев они переселились в Москву. Целый год для обоих прошел сносно. Бахтиаров развлекался в клубах, обедал в гостиницах, а остальное время выезжал рысаков и присутствовал на бегах. М-ме Бахтиарова между тем наряжалась донельзя и ездила на всевозможные гулянья.

Наконец, все это надоело Бахтиарову; выпросив у жены всеми неправдами довольно значительную сумму, он разошелся с ней и

решился переехать в провинцию. С этою целью он купил в той губернии, где мы первый раз с ним познакомились, имение и переехал туда, с намерением осуществлять на практике свои агрономические сведения. Но вышла неудача. Как поля ни отдыхали в шестипольной системе, как ни сеялся клевер, как ни укатывался овес – ни хлеба, ни овса, ни сена не только что не прибывало, но, напротив того, года через два агроном должен был еще с февраля месяца начать покупку хлеба и корма. Проклиная жестокий климат и дурную почву, Бахтиаров переселился в губернский город и с первого же появления в свете сделался постоянным и исключительным предметом разговоров губернских дам, что, конечно, было результатом его достоинств: привлекательную наружность его читатель уже знает, про французский, немецкий, английский языки и говорить нечего – он знал их в совершенстве; разговор его был, когда он хотел, необыкновенно занимателен и остроумен, по крайней мере в это верили, как в аксиому, все дамы. И в самом деле, Париж, например, он знал, как свою деревню, половину Германии

пешком выходил и целые два года жил в лучшем петербургском обществе. Но я, как беспристрастный историк, должен здесь заметить, что с дамами он вообще обращался не с большим уважением, и одна только Лизавета Васильевна составляла для него как бы исключение, потому ли, что он не мог, несмотря на его старания, успеть в ней, или оттого, что он действительно понимал в ней истинные достоинства женщины, или, наконец, потому, что она и станом, и манерами, и даже лицом очень много походила на тех милых женщин, которых он видал когда-то в большом свете, — этого не мог решить себе даже сам Бахтиаров.

## XVII Деревня

На другой день после описанной мною между Павлом и Юлией сцены оба они были больны. Бешметев, видя, что жена не хочет его оставить, решился сам от нее уехать, с благородным, впрочем, намерением – предоставить ей половину своего состояния. Приняв такое намерение, он еще ранним утром выпросился в отпуск, с тем чтобы на другой же день уехать, и велел Марфе сказать об этом жене. Лично они не видались. Юлия испугалась не на шутку. Разойтись с мужем! Но что об этом скажут в свете, а главное – как примет это Владимир Андреич? И, наконец, за что же он так с ней поступает? Что такое она сделала? Однако надобно было что-нибудь предпринять; Павел решительно собирался в деревню. Не просить же у него прощения! И кто теперь без папеньки внушит дураку? На этой самой мысли застала ее старинная наша знакомая Феокиста Саввишна, которая только ей одной известными средства-

ми уже знала все недавно описанное происшествие до малейших подробностей и в настоящее время пришла навестить людей в горе.

– Сейчас только услышала от вашей девушки, что вы не так здоровы, – говорила она, поздоровавшись с хозяйкой, – давно собиралась зайти, да все некогда. У Маровых свадьба затевается; ну, ведь вы знаете: этот дом, после вашего папеньки, теперь, по моим чувствам, в глаза и за глаза можно сказать, для меня первый дом. Что с вами-то, – время-то сырое – простудились, верно?

– Я очень несчастлива, Феоктиста Саввишна, – отвечала Юлия, закрыв глаза.

– Что это, Юлия Владимировна, что такое с вами?

– Муж не хочет жить со мной.

– Павел Васильич? Да что это ему сделалось?

– Ревнует меня – нельзя мне шагу сделать: вчера поехала я кататься; вдруг ему пришло в голову, что я заезжала...

– Куда же это, он думает, вы заезжали?

– Ну, к этому мерзавцу Бахтиарову.

– Скажите, пожалуйста, – говорила Феоктиста Саввишна, качая головою, – какая ревность! Но, впрочем, я вам скажу, не огорчайтесь очень, Юлия Владимировна, – мужчины все таковы: им бы все самим делать, а нам бы ничего.

– Но он не хочет жить со мной, – перервала Юлия, – едет в деревню. Поговорите ему: что он, с ума, что ли, сошел, что благородные люди так не делают, что это подло, что он меня может ненавидеть, но все-таки пусть живет со мной, по крайней мере для людей, – я ему не помешаю ни в чем.

– Ой, Юлия Владимировна! Как вас можно ненавидеть? – Так, в горячности, – больше ничего. Извольте, я поговорю, только сначала сторонкой кой-что поразузнаю и сегодня же дам ответ. Вам бы давно ко мне прислать, – как вам не грех? Случилось этакое дело, а меня не требуете; вы знаете, как я предана вашему семейству – еще на днях получила от Владимира Андреича письмо: поручают старую коляску их кому-нибудь продать. До приятного свидания.

Выйдя от Бешметевых, Феоктиста Саввиш-

на начала обдумывать свои действия во вновь предпринятом ею на себя подвиге. Она очень сожалела, что на этакий случай в городе нет Перепетуи Петровны, которая, рассердившись на племянника, все лето жила в деревне и даже на зиму не хотела приезжать в город, чтобы только не видеть семейного сраму, и которая, конечно бы, в этом деле приняла самое живое участие и помогла бы ей уговорить Павла. Но делать нечего. Сваха отправилась к Лизавете Васильевне: лично самой говорить Павлу она считала и неудобным и бесполезным.

Масуровой только что перед приходом Феоктисты Саввишны рассказала горничная, что случилось у Бешметевых. Она встревожилась и хотела послать за братом.

– Матушка, что это у ваших-то наделалось? – начала прямо Феоктиста Саввишна. – Я сейчас от них, Юлия Владимировна в слезах, Павел Васильич огорчен, – и не видала его. Говорят, он совсем хочет уехать в деревню, а супругу оставить здесь. Сами посудите – ведь это развод, на что это похоже? Мало ли что бывает между мужем и женою, вы сами

по себе знаете. А ведь вышло-то все из пустяков. Вчерась поехала кататься с этим вертопрахом Бахтиаровым.

Лизавете Васильевне было очень неприятно, что происшествие это знала уже и Феокиста Саввишна, но делать было нечего.

– Я ничего хорошенько не слыхала, – отвечала она, – это, верно, какие-нибудь пустяки.

– Какое, матушка! Я сейчас от них, – возразила Феокиста Саввишна, – Юлия Владимировна со слезами просила меня пересказать вам. «Вы знаете, говорит, как я люблю и уважаю сестрицу; я бы сама, говорит, сейчас к ней поехала, да не могу – очень расстроена. Попросите, чтобы она поговорила брату не делать этого. Ну, уж коли ему так хочется ехать в деревню, можно ехать вместе».

– Если брат думает ехать в деревню, то, конечно, поедет с женой, – отвечала Лизавета Васильевна.

– В том-то и дело, что хотят ехать одни; это и беспокоит Юлию Владимировну. Пошли-те-ка за ним, родная, да поговорите с ним. Я бы ему сама сказала, да мое дело стороннее, как-то неловко. Я вот хоть тут за ширмами

посижу, а вы ему поговорите.

– Когда же он хочет ехать?

– Да сегодня в ночь или завтра утром.

Лизавете Васильевне самой хотелось видеться с братом, но только без Феоктисты Саввишны. С другой же стороны, она знала, что госпожу Пономареву отклонить от какого бы то ни было дела, в котором она уже приняла участие, не было никакой возможности, а потому ограничилась только тем, что отослала сваху в мезонин к детям и тотчас же послала за братом. Прошел час, другой, третий – Павел не являлся. У деятельной Феоктисты Саввишны не осталось терпения дожидаться, и потому она, отправившись, куда ей было нужно, обещала вечером непременно забежать.

Часу в третьем пришел Павел.

Несколько минут брат и сестра молчали.

– Ты, братец, поспорился с женой? – спросила, наконец, Елизавета Васильевна.

Павел молчал.

– Ты не огорчайся, друг мой, – мало ли что бывает в семействе? Я с моим благоверным раза три в иной день побранюсь. Правда ли, что ты хочешь один ехать в деревню?

– Да, я сегодня в ночь еду.

– Один?

– Один.

– Не делай, братец, этого – это грех. Ты мужчина – должен быть великодушен.

– Я могу великодушно простить слабость, но никогда – порок.

– Но отчего же прощает мне мой муж?

– Какое сравнение!

– Одно и то же. Я также любила другого человека.

– Не говори мне этого, Лиза. Ты ангел.

– Хорошо, я не буду говорить, только дай мне слово ехать с ней вместе в деревню. Как хочешь понимай ее сам, но общественно ее бесславить ты не имеешь права, потому что сам женился на ней против ее воли.

Последние слова, кажется, очень поколебали решимость Павла.

– Мне трудно с ней жить, Лиза. Я теперь ее очень хорошо понял и больше не могу ее любить.

– Не говори, брат, – все время. Ты прежде ее любил, теперь не любишь, а после опять будешь. Так же и она прежде тебя не любила,

а теперь полюбит. Поверь, мой друг, в браке связует нас бог, и этими узами мы не можем располагать по собственному произволу.

– Лиза, вели мне дать вина, мне очень грустно, – прервал вдруг Павел.

Лизавета Васильевна посмотрела с удивлением на брата и велела, впрочем, подать вина. Бешметев залпом выпил целый стакан.

– Целый год я приносил этой женщине жертвы, – начал он, – целый год она ничего не видела и не понимала; даже теперь, я уверен, она не раскаивается, а вот еще ты хочешь, чтобы я принес ей новую жертву.

– Не для нее, брат, но для меня – я тебе советовала жениться, и на моей совести ваше счастье.

– Я действительно неправ, – продолжал Павел, – что женился наобум, не понимая ничего; но теперь я ее знаю. Вот что она такое, выслушай меня, Лиза: она необразованна, дурного характера, не любит, даже терпеть не может меня и, тяжело сказать, развратна. Должен ли я жить с ней?

– Должен. Мало этого, ты должен ее исправить: на твое попечение она отдана богом.

Еще раз прошу тебя – прости ее и не оставляй.

– Изволь, Лиза, но только здесь я не могу оставаться: мне стыдно стен.

– И не оставайтесь, сегодня же поезжайте в деревню.

– Но я не могу с ней говорить.

– И не говори. Я ей напишу или велю сказать. Когда ты думаешь выехать?

– Завтрашний день.

Брат и сестра расстались.

Не более как через полчаса после ухода Павла явилась к Лизавете Васильевне Феоктиста Саввишна и, к удивлению своему, услышала, что у Бешметевых ничего особенного не было, что, может быть, они побранились, но что завтра утром оба вместе едут в деревню. Сваха была, впрочем, опытная женщина, обмануть ее было очень трудно. Она разом смекнула, что дело обделалось, как она желала, но только от нее скрывают, чем она очень оскорбилась, и потому, посидев недолго, отправилась к Бешметевой.

– Ну вот, матушка, дело-то все и обделалось, извольте-ка собираться в деревню, – объявила она, придя к Бешметевой. – Ну уж,

Юлия Владимировна, выдержала же я за вас стойку. Я ведь пошла отсюда к Лизавете Васильевне. Сначала было куды – так на стену и лезут... «Да что, говорю я, позвольте-ка вас спросить, Владимир-то Андреич еще не умер, приедет и из Петербурга, да вы, я говорю, с ним и не разделаетесь за этакое, что называется, бесчестие». Ну, и струсили. «Хорошо, говорят, только чтобы ехать в деревню».

– Я, пожалуй, в деревню поеду, – отвечала Юлия, которая сама чувствовала, что в городе ей оставаться не так-то ловко, тем более что может встретиться с ужасным Бахтиаровым. – Видели вы мужа? – спросила она.

– Как же, грустный такой: он ведь вас очень любит. Что, он теперь дома?

– Кажется, дома.

– А вот я с ним поговорю. – С этими словами Феоктиста Саввишна отправилась в комнату Павла.

– А вы в деревню изволите собираться, Павел Васильич, – надолго ли, отец мой?

– Не знаю.

– Да супруга-то с вами ли едет? – прибавила она вполголоса. – Оне что-то ничего не го-

ворят.

– Мы оба едем, – отвечал Павел.

– Так-с, в коляске?

– В коляске.

Переговорив таким образом, сваха пришла к Юлии и посоветовала ей велеть горничной тотчас же укладываться. Таким образом, на другой день поутру супруги вышли, каждый из своей комнаты, не говоря друг с другом ни слова, сели в экипаж и отправились в путь.

Небольшая усадьба Бешметева не отличалась ни живописным местоположением, ни широким довольством капитальных помещичьих усадеб. Она была в страшной глуши, окружалась со всех сторон лесом и болотами. Небольшой барский дом, или, скорее, флигель, несколько людских строений, амбар, погреб, сарай да покосившаяся набок толчея – вот и все тут. В продолжение своего путешествия супруги мои, вместо того чтоб объяснить и яснее разузнать роковое для них происшествие, ни слова почти не сказали об этом и переговорили только о совершенно посторонних для них предметах, – так, например, о попавшемся им на пути скверном

мосте, об очень худой корове, о какой-то необыкновенно живописной в стороне усадьбе, и, наконец, убеждали вместе хозяина постоянного двора, заломившего с них тройную цену за ночлег.

Приехав в усадьбу, они начали с того, что взяли себе совершенно отдельные комнаты, на противоположных концах дома, и каждый из них поместился в своем отделении по-своему. Юлия повесила на маленькие окна драпировку, расставила на комоде свои модные вещицы и, впялив канву, решила вышивать какого-то длинноногого рыцаря. Что касается до Павла, то он разложил свои книги, в намерении заниматься. Между собой они видались только за столом, и то не всегда, и почти ничего не говорили друг с другом. Вот какова была внешняя жизнь Бешметевых, и, конечно, она была результатом того, как они понимали друг друга. Юлия своею порочною изменою, – в пороке жены Павел нимало уже не сомневался, – эта некогда обожаемая Юлия в один мах упала с пьедестала, на котором герой мой прежде держал ее в своем воображении. Будь на месте Павла другой муж, более

опытный в житейском деле, тот, без сомнения, предварительно разузнал бы все хорошенько и, убедившись, что ничего серьезного не было, не произвел бы, конечно, никакой тревоги, а заключил бы все дело приличным наставлением, при более грубом характере – двумя – тремя тузами коварному существу. Но не так взглянул на это Павел, пуританин по своим понятиям, образовавшимся в одностороннем воспитании, и изъятый сам от юношеских дурачеств своею вялою и флегматическою природою. В чувствах к жене он как-то раздвоился: свой призрак, видимый некогда в ней, он любил по-прежнему; но Юлию живую, с ее привычками, словами и действиями, он презирал и ненавидел, даже жить с ней остался потому только, что считал это своим долгом и обязанностью. Юлия, с своей стороны, еще более стала не любить Павла. В своих отношениях с Бахтиаровым она не видела ничего преступного; напротив того, она постоянно боролась и осталась верна мужу. Но так строго и за что же осудил ее этот безалаберный человек? Что такое она сделала? Ничего – она любила другого, но не

его же, болвана, любить: он дурак, решила она и не хотела оставить его оттого только, что боялась общества и папеньки. К этим горьким размышлениям моей героини присоединялась еще страшная ненависть к Бахтиарову, о котором она не могла равнодушно вспомнить.

Прошла неделя, другая, третья и, наконец, месяц. Обоим супругам сделалось невыносимо скучно. Юлия решительно не знала, что делать: наскучившись, даже наплакавшись, она обыкновенно принималась вышивать рыцаря, у которого, вследствие того, в какие-нибудь две недели обозначились даже ноги и уже начиналась лежащая у этих ног собака. Павел, думавший заниматься, ничего не делал, но обыкновенно лежал и думал; предметом его размышлений были, по преимуществу, женитьба и Юлия. Он, как нарочно, вспоминал все не слишком чистые поступки Владимира Андреича, дававшего только советы и не сделавшего лично для дочери ничего; вспоминал все невнимание и даже жестокосердие, которое обнаруживала Юлия в отношении к его больной матери, всю

нелюбовь ее и даже неуважение, оказываемое ею в отношении его самого, наконец, ее грязную измену и то презрение, которое обнаруживал Бахтиаров к бесстыдной женщине. О поступке губернского льва с Юлией Павел был уведомлен от людей, с которыми он уже не стыдился говорить о жене. Герой мой, в своем желчном расположении, в бездействии и скуке, не замечая сам того, начал увеличивать обычную порцию вина, которое он прежде пил в весьма малом количестве. Обед был, как я и прежде замечал, единственное время, в которое супруги видались. К этому-то именно времени Павел и делался значительно навеселе. В подобном состоянии неприязненное чувство к жене возрастало в нем до ожесточения, и он ее начинал, как говорится, шпиговать.

– Что, Константин, – говорил, например, он, обращаясь к стоящему лакею, – не хочешь ли, братец, жениться?

– Никак нет-с, Павел Васильич, – отвечал тот.

– Отчего же, братец? Ничего – будет только на свете лишний дурак.

– Сохрани бог, Павел Васильич, – возражал лакей.

– Дал мне бог ум и другие способности, – рассуждал потом Павел вслух, – родители употребили последние крохи на мое образование, и что же я сделал для себя? Женился и приехал в деревню. Для этого достаточно было есть и спать, чтобы вырасти, а потом есть и спать, чтобы умереть.

– Кто же вас заставлял жениться? – возражала Юлия.

– Собственная глупость и неблагоприятная судьба.

Юлия пожимала только плечами.

– Сегодня именины у Портновых, и у них, верно, бал, – сказал однажды Бешметев.

В этот день он был даже пьян.

– Как вам, Юлия Владимировна, я думаю, хотелось бы туда попасть!

Юлия не отвечала мужу.

– Вы бы там увиделись и помирились с одним человеком; он бы вас довез в своем фэ-тоне, а может быть, даже вы бы и к нему заехали и время бы провели преприятно.

Юлия не могла этого вынести и залилась

слезами.

– Подлый и низкий человек! – в состоянии была только проговорить она и ушла к себе в комнату.

Целый день она после того плакала. Павел не обратил сначала внимания на слезы и уход жены; но, выспавшись, ему, видно, сделалось совестно своих слов: он спрашивал у людей, что делает жена. Ему отвечали, что лежит в постели, плачет и несколько раз принимала гофманские капли.

Дня три после этого супруги не видались. Юлия не могла понять, что сделалось с мужем. Она прежде была уверена, что он в нее влюблен, и поэтому она может делать все, что ей угодно, и что ей достаточно ласково взглянуть на него, чтобы осчастливить на целую неделю; но что ж выходит теперь? Он осмеливается ей делать беспрестанные обиды. Откуда в нем эта дерзость? Марфа разрешила ее сомнения.

– Не плачьте, матушка, – сказала она, утешая плачущую Юлию после одной новой выходки Павла, – ведь это он сказал так... не в своем разуме: хмельненок был маленько.

– Как хмельненек? Разве он пьет? – спросила Юлия.

– Пьет, матушка, и порядочно-таки этим занимается, – отвечала служанка.

– Господи! Только этого недоставало! – вскрикнула Юлия, всплеснув руками. – Он дурак, злой и пьяница; теперь он говорит колкости, а там и бить начнет.

Она решилась было написать обо всем к отцу, но потом раздумала: Владимир Андреевич, вероятно, будет спрашивать Павла, а тот, уж конечно, напишет ему все, а этого ей очень не хотелось. Не зная решительно, что будет с нею вперед, она дала себе слово не уступать Павлу и на колкости его, насколько станет сил, отвечать бранью и угрозами. Таким образом, неприязненное расположение моих супругов друг к другу росло с каждым днем. Сколько оба они страдали, я не в состоянии описать. Оба худели и бледнели с каждым днем; для Юлии не проходило дня без слез, а Павел, добрый мой Павел, решительно сделался мизантропом. В обыкновенном состоянии он страдал и тосковал, а выпив, начинал проклинать себя, людей, жену и даже

Лизавету Васильевну, с которою совершенно перестал переписываться и не отвечал ни слова на ее письма.

# XVIII

## Соседка

Между тем переезд Бешметевых в деревню послужил значительным предметом для толков. Молва о случившемся происшествии между Бешметевым и Бахтиаровым дошла до соседей прежде еще их приезда. История эта в различных местах рассказывалась различно. Одни говорили, что Юлия, влюбившись в Бахтиарова, ушла к нему ночью; муж, узнав об этом, пришел было за ней, но его выгнали, и он был столько глуп, что не в состоянии был ничего предпринять; что на другой день поутру Юлия возвратилась к мужу, потому что Бахтиаров, которому она, видно, наскучила, прогнал ее, и что теперь между ними все уже кончено. Более же подозрительные умы говорили, что интрига не кончена, что это только один отвод, что Бахтиаров скоро приедет к ним в деревню. Как бы то ни было, над Павлом все смеялись, а Юлию обвиняли в безнравственности. Дамы, особенно позначительнее, говорили вслух, что они даже не за-

платят визита, если новая соседка вздумает приехать к ним. Но Бешметева ни с кем не знакомилась. «И прекрасно делает, – говорили те же дамы, – по крайней мере этим она доказывает, что она умная женщина и, понимая себя, не хочет собою компрометировать других». Впрочем, я должен сказать, что, несмотря на подобные обидные возгласы, были некоторые дамы, которым очень желалось познакомиться с Бешметевыми, особенно с тех пор, как все уже убедились, что новые соседи не думают знакомиться ни с кем.

По преимуществу это желание овладело одной почтенною помещицей и самую ближайшею соседкой Бешметевых, Катериной Михайловной Санич. Дама эта была уже старуха и с незапамятных годов вдовствовала в своей усадьбе, поправляя всю жизнь расстроенное покойным супругом состояние. Происхождения она была темного и, как говорил слух, выйдя весьма двусмысленно в Петербурге замуж за немолодого уже Санич, переехала с ним в деревню, привезя с собою и того времени столичные моды и столичный тон. С самого приезда обнаружила она мягкое к несча-

ствиям ближних сердце и решительную наклонность протестовать против мнений соседей. Выгонял ли кто управляющего за пьянство и плутовство, спасалась ли жена от жестокосердого мужа, отказывала ли какая-нибудь дама молоденькой гувернантке за то, что ту почтил особенным вниманием супруг, – всех принимала к себе Санич и держала при себе, покуда судьба несчастных жертв не устраивалась. Услышав о приезде Бешметевых и о случившейся с ними неприятной истории и затем узнав, что деревенские дамы не хотят этой новой соседке заплатить даже визита, она начала с того, что во всеуслышание объявила нижеследующее свое решение: «Дама эта поступила дурно, но они не должны ее судить строго, потому что это может случиться со всякой, и потому она Бешметеву примет, сама к ней поедет; а как бы это ни показалось другим, для нее все равно».

– Верно, думает занять у них денег, – заметил один сосед, имевший наклонность каждый поступок человека перетолковывать в дурную сторону.

Желание, хотя и невысказанное, познако-

миться с Бешметевыми разделяли также бедные дворянки, для получения законного права выносить на моих героев всевозможные сплетни, за которые они обыкновенно получают от своих покровителей место за столом и поношенные платья. Эти личности уже несколько раз порывались войти в дом Бешметевых, но Павел велел отказывать всем. Даже, может быть, добрейшей госпоже Санич не удалось бы исполнить ее христианского дела, познакомиться с Бешметевыми, если бы сама судьба не распорядилась таким образом, что знакомство это началось решительно без всякого ведома с той и другой стороны.

Юлия Владимировна приехала к обедне в свой приход, почтенная Санич была там и после обедни, как бы случайно, не замедлила подойти к Бешметевой. Разговор, как водится, начался с пустяков, с хорошей погоды; затем Катерина Михайловна была так любезна и внимательна, что Юлия разговорилась, ярко описала новой знакомой скуку деревенской жизни, к которой она еще совершенно не привыкла. Санич не преминула объяснить, что она очень хорошо знает Владимира Ан-

дреича и донельзя его уважает. Одним словом, дамы познакомились. Катерина Михайловна пригласила соседку, без церемонии, по-деревенски, для того только, чтобы провести еще несколько приятных часов в столь милым для нее знакомстве, – ехать к ней. Юлия, поблагодаря за ее лестное расположение, согласилась на предложение с удовольствием. Таким образом, обе дамы поехали в одном экипаже.

Здесь я должен объяснить, что милосердая Катерина Михайловна в это время дала приют в своем обширном доме одному безместному французу-гувернеру, которого завез в эту глушь один соседний помещик за довольно дорогую плату, но через две же недели отказал ему, говоря, что м-г Мишо (имя гувернера) умеет только выезжать лошадей, но никак не учить детей. Почтенный отец семейства до того желал отделаться от наставника, что даже отказался от данных ему вперед трехсот целковых и просил только м-г Мишо убираться, куда ему угодно. Гувернер был в весьма затруднительном положении; у него не было ни копейки, и я не знаю, чем бы все

это для него кончилось, если бы милосердая Катерина Михайловна, узнав о новой жертве, не послала к нему тотчас лошадей с приглашением приехать к ней. Француз, разумеется, не замедлил согласиться и, предоставя о будущем заботиться своей судьбе, приехал и поселился весьма комфортабельно в нижнем этаже дома своей покровительницы, прося ее беспрестанно занять где-нибудь, хотя напрокат, сына или дочку, которых бы он, по его словам, удивительно воспитал. Проживая таким образом, он обыкновенно рассказывал различные комеражи, происходившие в доме почтенного, но выгнавшего его помещика. Старуха помирала со смеху, слушая рассказы своего милого француза, который был действительно мил. Имел ли он, собственно, достоинства воспитателя, я не знаю; по крайней мере если их и имел, то тщательно скрывал таковые. Но зато он владел другими достоинствами, а именно: имел чисто французскую выразительную физиономию, был прекрасно одет, щегольски ездил верхом и мастерски стрелял, играл довольно недурно на фортепьяно, а главное – наделен был способностью

болтать по целым дням на всевозможные тоны и насвистывать целые оперы, причем обыкновенно представлял оркестр, всех певцов и даже самый хор. По-русски m-г Мишо говорил чисто, что и заставляло думать, что вряд ли он и не родился в России; но, впрочем, сам он уверял, что произошел на свет на берегах Сены, и даже в Сен-Жерменском предместье[17], откуда для развлечения приехал в Россию и принялся образовывать юношество. Вот какого человека встретила Юлия в доме своей новой знакомой.

Старуха еще дорогой рассказала Бешметевой о своем милом жильце и, приехав, тотчас же познакомила их. Разговор сейчас завязался. M-г Мишо не замедлил пропеть комическим тоном несколько арий из «Лючии»[18], представил оркестр из «Фра-Дьяволо»[19], потом описал породу нормандских лошадей, описал также ужасное происшествие, постигшее один французский фрегат, попавший в плен к диким, и в заключение нарисовал карикатуру одного знакомого соседа. Юлии было невыразимо весело; она забыла свои неприятности, забыла мужа, смеялась и гово-

рила беспрестанно. Милосердая хозяйка тоже покатывалась со смеху, слушая бесценного т-г Мишо, который не ограничился еще этим, но, перестроив себя на печальный лад, продекламировал несколько стихотворений из Виктора Гюго, причем, возведя очи к небу, вспомнил о своей невесте, будто бы два года тому назад умершей, и потом, расчувствовавшись, уселся за фортепьяно и проиграл две арии из Шуберта.

Таким образом, день прошел весьма скоро. Юлии не хотелось ехать; она готова была остаться тут еще день, неделю, месяц. Когда она села в экипаж, сердце ее замерло при одной мысли, что она после такого приятного общества должна воротиться в свою лачугу, встретиться с несносным супругом.

Приехав домой, впрочем, она не видала Павла и встретила с ним уже на другой день за обедом. Бешметев даже не спросил жены, где она была целый день.

На третий день Юлия сама уже решилась сказать мужу, что завтрашний день приедет к ним отплатить визит Санич, с которою она познакомилась в прошлое воскресенье. Павел

на это ничего не отвечал, но только на другой день, еще часу в десятом утра, уехал в город.

Катерина Михайловна приехала в четверг и, после обычных приветствий, спросила Юлию о муже. Бешметева несколько сконфузилась и нашлась только сказать, что Павел по очень нужным делам уехал в город, но что, приехав, он непременно приедет с нею представиться к Катерине Михайловне, которую он будто бы безмерно уважает. Просидев часа два, Санич уехала, взяв с Юлии честное слово быть у нее в следующее воскресенье. Юлия обещалась, решившись, впрочем, не везти мужа к новой знакомой, а если та спросит об нем, то солгать или на болезнь, или на что-нибудь подобное. Поэтому она ничего и не говорила Павлу, который, приехав из города, вел себя по-прежнему, то есть целые дни не видался с женою, а за обедом говорил ей колкости. Юлия дала себе слово не обращать внимания на дурака и сносила все молча, даже не слушая того, что он говорит.

В следующее посещение Бешметевой к Санич француз превзошел сам себя; по крайней мере в отношении к Юлии он так был любе-

зен, что та как бы невольно проговорила с ним целый вечер, и когда она собралась домой, то Мишо объявил ей решительное намерение провожать ее верхом и защищать в случае какой-либо опасности до последней капли крови. Сказано и сделано. До самых последних ворот француз галопировал подле коляски Бешметевой и при прощании объявил, что на днях же явится с визитом. Бешметева, не подумав, согласилась на это посещение; но, приехав домой, она вспомнила о Павле, об этом отвратительном Павле. «Что же такое? – подумала она. – Я ему скажу завтра решительно, и он, верно, куда-нибудь уедет. Не стеснять же себя для него на каждом шагу».

На этой мысли Юлия успокоилась.

# ХІХ

## Отъезд

Павел, несмотря на то, что даже и не спросил Юлии о новом ее знакомстве с добрейшею Катериною Михайловною и милым м-г Мишо, знал уже все. Петрушка, подсмотревший некогда в щелку, как Юлия целовала Бахтиярова, подсмотрел и на этот раз и, как водится, сообщил в людской с всевозможными подробностями о посещении Юлиею соседки, о самой соседке и, наконец, и о ловком учителе. Все это подслушала Марфа и тем же вечером сообщила барину. Таким образом, Бешметев узнал, что Юлия целый вечер говорила по-французски с гувернером, что этот гувернер играл на фортепьянах, а Юлия Владимировна слушала, что, наконец, м-г Мишо провожал ее верхом до самых воротец в озимое поле. Для мнительного и решительно предубежденного против своей супруги моего героя было слишком достаточно. «Это, верно, новая интрига», – решил он и дал себе слово на этот раз не быть таким дураком, как

прежде, и не пускать к себе этого нового мерзавца в дом. Приняв это намерение, он почти ни слова не говорил с женою и даже, во избежание неприятных с нею встреч, придумал уйти с раннего утра на целый день охотиться. М-г Мишо, как нарочно, приехал в этот день с первым визитом. Юлия, обрадованная тем, что гость приехал так кстати, то есть без мужа, встретила его очень любезно и, конечно, так же бы любезно провела с ним целый день, если бы не услышала часу в первом, что Павел воротился. Ожидая каждую секунду, что милый супруг войдет и, может быть, сочинит сцену, она совершенно растерялась, и потому, как м-г Мишо ни был занимателен и любезен, Юлия, ссылаясь на головную боль, сделалась молчалива и решительно не в состоянии была поддерживать разговор. Гувернер догадался и скоро уехал; на него произвела самое невыгодное впечатление нелюбезность хозяйки, которая, вместе с ее некомфортабельною гостиною, решительно уронила ее в его глазах. Он с первого свидания счел ее, по ее развязным манерам и умению выражаться на французском языке, дамою *comme il faut*

[20], имеющею свой будуар с известными прихотями, хороший завтрак и цельное вино. Но что же вышло? Она живет только что не в кухне, ничего не дала ему пить и есть, а главное, была молчалива, как сова, при всей его любезности.

Здесь я должен объяснить, что Павел воротился домой совершенно случайно. Собравшись на охоту, он сыскал себе предварительно довольно опытного руководителя в особе соседнего мужика Фаддея, перебившего на своем веку бесчисленное множество пернатых и около полусотни медведей. Фаддей за любезное ему дело принялся, как и надобно ожидать от истого охотника, горячо, то есть провел моего героя верст пять по болоту, убил двух уток и одного даже бекаса и хотел уже вести барина еще далее, к месту, где, по его словам, была уйма рябчиков. Бешметев, вооруженный ружьем, был одним только жалким зрителем успехов своего спутника и устал до невероятности. Услышав, что ему предстоит отойти от дома еще верст пять, решительно отказался и возвратился домой через силу, с полным убеждением, что охота не

может служить ему времяпрепровождением. Войдя в дом, он еще в лакейской заметил модное пальто и, не спрашивая, догадался, кому оно принадлежит. Он ограничился только тем, что посмотрел на ружье и, вернувшись к себе в комнату, бросил его на пол с такою силою, что ствол выскочил из ложи.

Однако надобно было что-нибудь предпринять: послать лакея сказать французу, чтоб он убирался, откуда пришел, или позвать Юлию и требовать от нее, чтоб она сейчас же выпроводила гостя, или, наконец, войти самому и оказать ему явную невежливость, например спросить его, зачем он пожаловал? Между тем как таким образом Павел, выходя из себя от досады и ревности, придумывал средства, какими следует выпроводить m-г Мишо, тот уехал, и потому герой мой решился все выместить на Юлии; вместе с тем, не замечая сам того, выпил несколько рюмок водки. Юлия не менее супруга была рассержена. «Господи, – говорила она сама с собою, – до чего довел меня этот урод? Я не могу принять постороннего человека в свой дом, провести два часа в неделю приятно. Он меня истерза-

ет, живую положит в могилу».

С такого рода чувствованиями супруги сошлись к обеду и несколько минут не говорили друг с другом ни слова.

– Если сегодняшней господин, – начал Павел, обращаясь к лакею, – когда-нибудь придет еще, то сказать ему, что его не велено пускать.

– Если Мишо придет, – возразила Юлия, насколько стало у ней силы, решительным голосом, – то сказать ему, что я его принимаю.

– А я приказываю сказать, – перебил Павел, – что его не велено пускать, – слышишь ли? – а если не пойдет, так вытолкать его в шею! Кто хочет с ним видеться, так могут найти место в поле, на улице, у него в спальне, только не в моем доме.

В продолжение всей этой речи Павла Юлия дрожала и при последних словах, будучи не в состоянии ничего отвечать на несправедливую обиду, упала со стула в страшной истерике. Павел не бросился к жене, как он это делал прежде; он даже не позвал к ней на помощь и ушел к себе в комнату. С Юлией был неподдельный и сильный

истерический припадок: она рыдала на целый дом. Несколько минут Павел сидел в каком-то ожесточенном состоянии и потом, видно, будучи не в состоянии слышать стоны жены, выбежал из дома и почти бегом пошел в поле, в луг, в лес, сам не зная куда и с какою целью. Пробежав версты три, наконец утомился, упал на траву и, как малый ребенок, начал рыдать. Трудно перечислить и определить те чувствования, которые породили эти слезы; это были ревность, злоба, жалость, раскаяние, одним словом все то, что может составить для человека нравственный ад. Но отчего страдали и терзали друг друга эти два человека? Странно сказать, но оно справедливо. От одного только непонимания один другого, разницы в воспитании и решительной неопытности в практической жизни.

Между тем Юлия проплакалась. Слезы облегчили ее, и затем, несколько успокоившись, она решилась тотчас же ехать к Катерине Михайловне, рассказать ей все и просить у ней совета, что ей делать. Долее жить с Павлом, она уже видела, что для нее нет никакой возможности.

В это самое время милосердая Катерина Михайловна была в исключительно филантропическом расположении духа вследствие того, что ей принесли оброка до полуторы тысячи ассигнациями и неизвестно откуда явился кочующий по помещикам разносчик с красным товаром, и потому старуха придумывала, кому из горничных, которых было у ней до двух десятков, и что именно купить на новое платье, глубоко соображая в то же время, какой бы подарок сделать и милому m-г Мишо, для которого все предлагаемые в безграмотном реестре материи, начиная от английского трико до индийского кашемира, казались ей недостойными. В это самое время приехала Юлия. Катерина Михайловна обрадовалась до невероятности, выбежала встретить гостью еще в лакейскую и, заметив, что у Бешметевой заплаканы глаза и что она очень бледна, перепугалась и тотчас же спросила:

— Что с вами, бесценная моя? Вы больны или плакали? Боже мой! Не умер ли кто-нибудь из близких вам?

На этот радушный вопрос Юлия ни слова

не отвечала и только, сжав руку у доброй Катерины Михайловны, просила отвести ее в отдаленную комнату и позволить поговорить с ней наедине. Просьба эта, конечно, сейчас же была исполнена. В самой отдаленной и даже темной комнате, предназначенной собственно для хранения гардероба старухи, Юлия со слезами рассказала хозяйке все свое горькое житье-бытье с супругом, который, по ее словам, был ни более ни менее, как пьяный разбойник, который, конечно, на днях убьет ее, и что она, только не желая огорчить папеньку, скрывала все это от него и от всех; но что теперь уже более не в состоянии, – и готова бежать хоть на край света и даже ехать к папеньке, но только не знает, как это сделать, потому что у ней нет ни копейки денег: мерзавец-муж обобрал у ней все ее состояние и промотал, и теперь у ней только брильянтовые серьги, фермуар и брошки, которые готова она кому-нибудь заложить, чтоб только уехать к отцу. Катерина Михайловна, исполненная, как известно моему читателю, глубокой симпатии ко всем страданиям человеческим, пролила предварительно обиль-

ные слезы; но потом пришла в истинный восторг, услышав, что у Юлии нет денег и что она свои полторы тысячи может употребить на такое христианское дело, то есть отдать их т-те Бешметевой для того, чтоб эта несчастная жертва могла сейчас же уехать к папеньке и никак не оставаться долее у злодея-мужа. Юлия, разумеется, на все это согласилась с удовольствием и благодарностию. Приняв такое намерение, обе дамы начали придумывать, как бы все это сделать без шума и без огласки. Катерина Михайловна решительно объявила, чтобы за вещами послали ее человека, а между тем сама хоть недельку бы у ней отдохнула и подкрепилась к такому дальнему вояжу. Юлия и на это согласилась. Послан был человек с запискою от Бешметевой к ее горничной, которой было поручено, забрав вещи Юлии, тотчас же приехать к Катерине Михайловне, а если будет спрашивать барин, так ему сказать, что она ничего не знает, а только ей так приказано.

Предпринятое дамами намерение они не открыли никому и даже т-г Мишо сказали только, что Юлия приехала к Катерине Ми-

хайловне на несколько дней. Француз с своей стороны, хотя уже и разочарованный в м-те Бешметевой, однако очень обрадовался, узнав, что она прогостит несколько времени у м-те Санич.

Чувство удовольствия одушевило еще более и без того уже довольно одушевленного м-г Мишо, поэтому в тот вечер он превзошел всякую меру любезности. Не говоря уже об анекдотах, о каламбурах, об оркестре из «Фенеллы», просвистанном им с малейшими подробностями, он представил даже бразильскую обезьяну, лезущую на дерево при виде человека, для чего и сам влез удивительно ловко на дверь, и, наконец, вечером усадил Юлию и Катерину Михайловну за стол, велел им воображать себя девочками – м-те Санич беспамятною Катенькою, а Юлию шалуньей Юленькою и самого себя – надев предварительно чепец, очки и какую-то кацавейку старой экономки – их наставницею под именем м-те Гримардо, которая и преподает им урок, и затем начал им рассказывать нравственные анекдоты из детской книжки, укоряя беспрестанно Катеньку за беспамятство, а

Юленьку за резвость. М-г Мишо так был мил в этой шутке, так уморительно гримасничал, что даже лакеи и горничные, выглядывавшие из-за дверей, не могли удержаться от смеха, а сама хозяйка и Юлия смеялись почти до истерики. Юлия не только не беспокоилась, но даже почти совсем забыла в этом приятном обществе свое неприятное положение, тем более что приехавшая горничная и привезшая ей вещи объявила, что Павел даже и не спросил, куда и зачем это везут.

Павла мы оставили бежавшим из дома от стонов и рыданий жены. Несколько успокоившись, он начал придумывать, каким бы образом помириться с Юлией, против которой он чувствовал себя на этот раз совершенно неправым. Но каким образом это сделать? Заговорить с ней? Но она, конечно, не будет отвечать. Прийти прямо и просить у ней прощения? Это смешно, да и он не в состоянии до того унизиться. Написать ей записку, в которой сказать ей, что он ее ревнует и просит ее, чтоб она откровенно призналась, если любит этого француза, и в таком случае предложить ей, не стесняя более ни себя, ни его, разье-

хаться, и что он, с своей стороны, предоставит ей полную свободу и даже часть состояния. С таким намерением возвратился он домой. Первый его вопрос был: что барыня? И каково же было его удивление, когда он услышал, что Юлия, которую он ожидал увидеть в страшной истерике или по крайней мере в слезах, вскоре же после его ухода уехала, и уехала к Санич, то есть к французу, а после того прислала записку к горничной, чтобы та привезла ей все вещи! Так, стало быть, все это притворство, комедия, и что теперь уже она вполне обличила себя, потому что уехала к Санич и требует свои вещи, вероятно с намерением бежать с Мишо. Что, если и этот обожатель поступит так же с этою безнравственною женщиною, как и Бахтиаров, то есть прогонит ее? Неужели же и на это новое бесчестие он должен смотреть равнодушно? «Лучше не останусь живой, – думал Павел, – чем позволю ей переступить порог моего дома. Суди меня бог и люди, я с ней не буду более жить!» Решившись на это, Бешметев призвал Марфу и Константина и строго приказал им не пускать решительно жену, ни ее послан-

ных в дом и не принимать никаких писем. То же было сказано и собравшейся горничной Юлии, которая, впрочем, как мы видели, не передала этого барыне. Подобное решение, видно, было слишком тяжело моему герою. С каким-то отчаянием бросился он на постель и, не смыкая глаз, пролежал целый вечер и целую ночь.

Посидев несколько минут, Юлия просила Катерину Михайловну позволить с ней поговорить наедине, которая, конечно, сейчас исполнила ее желание. Таким образом, обе дамы опять очутились в отдаленной и темной комнате, где Юлия начала умолять Санич завтрашний же день чем свет отпустить ее в Петербург, говоря, что она слышала, будто бы Павел хочет приехать и силою ее взять. Как ни жаль было добрейшей Катерине Михайловне расстаться с Юлией, но делать нечего; она сама очень хорошо понимала, какая может произойти неприятная история, если муж приедет и вздумает взять Юлию силою. Согласившись отпустить Бешметеву, она тотчас же принялась хлопотать об экипаже, собственно предназначенном для развозки

несчастливых жертв и в котором Юлия должна была доехать до губернского города. Юлия же, с своей стороны, приказала горничной укладывать все свои вещи. Все эти приготовления обе дамы делали со всевозможною скрытностью. Но м-р Мишо проведал и начал расспрашивать, что такое это значит, сначала людей, а потом приступил и к Катерине Михайловне, которая, для христианского дела, решилась даже солгать и объявила любопытному французу, что Юлия на несколько дней едет домой, потому что у ней болен муж, и что дня через три она возвратится к ней и уже прогостит целый месяц.

Вечер прошел довольно скучно; хозяйка грустила, что она должна будет расстаться с Юлией, которая должна одна, в таком ужасном положении, проехать такое длинное пространство, и, наконец, придумала сама проводить несчастную жертву хоть до губернского города. Юлия тоже не могла без ужаса себе представить, как поедет она одна, а главное, как примет папенька ее поступок. Француз был недоволен тем, что дамы что-то такое замышляют и скрывают от него. Часов в десять

все разошлись, Юлия с хозяйкой в ее спальню, а француз в свой нижний этаж. Катерина Михайловна, оставшись с Юлией наедине, начала с того, что подала Юлии полторы тысячи и очень обиделась, услышав, что та хочет дать ей в них расписку; а потом, когда Юлия хотела у ней поцеловать руку, она схватила ее в объятия и со слезами на глазах начала ее целовать и вслед за тем объявила, что сама она едет провожать ее до губернского города.

Еще m-г Мишо покоился мирным сном и даже видел очень приятные сны, как две дамы, с предварительными слезами и прощанием, уселись в экипаж и отправились в дальний путь.

# XX

## Опять родственница

В той же самой гостиной, в которой мы несколько лет тому назад познакомились с почтенною Перепетуей Петровной и ее знакомою Феоктистой Саввишной, они по-прежнему сидели на диване, и по-прежнему Перепетуя Петровна была в трауре. Обе они тождественно пополнели, и разговор был между ними, как и прежде, на печальный лад.

– Легко сказать, – говорила Перепетуя Петровна, – в какие-нибудь три года перенесла я три потери.

– И говорить ничего не могу и утешать не смею, – перебила Феоктиста Саввишна, – одно только скажу: берегите себя. Что вы теперь остались? Круглая, можно сказать, сирота, а я по себе знаю, что такое одиночество, особенно для женщины, когда не видишь ни в ком опоры.

– Матушка моя, – возразила Перепетуя Петровна, – о прочих я не говорю: старики уже были; все мы должны ожидать одного конца.

Но Павел-то, голубчик мой! Только бы, что называется, жить да радовать всех, только что в возмужалость начал приходить...

При последних словах старуха зарыдала.

– Полноте, Перепетуя Петровна, успокойтесь, умоляю вас, не кладите вы на себя руки, ведь это грех, – говорила Феоктиста Саввишна.

– Ох, господи боже мой! – отвечала Перепетуя Петровна. – Жила в деревне, ничего того не знала, не ведала, слышу только, что была какая-то история, что переехали в усадьбу, и больше ничего. И вы вот, Феоктиста Саввишна, – бог с вами! – хоть бы строчку написали.

– Не говорите этого, Перепетуя Петровна, не претендуйте на меня, – перебила Феоктиста Саввишна, – вы знаете, я думаю, мой характер, где не мое дело, а особенно в семейных неприятностях, я никогда не вмешиваюсь; за это, можно сказать, все меня здесь и любят, потому что болтовни-то от меня пустой не слышат. Что я вам могла написать? Одно только огорчение доставить; так уж извините, как вы там хотите понимайте меня, а мне ваше-то здоровье дорого не меньше свое-

го.

– Знаю, голубушка моя, все ваше расположение очень хорошо понимаю и ценю; да вы ведь знаете мою родственную любовь: самой себя, кажется, для их счастья не пожалела бы. Да вышло-то все не так, как не послушались старой тетки-то. Недели через две уже узнала, что она из деревни-то от него уехала. Что, думаю, мне делать? Однако написала к нему письмо, и письмо, знаете, этакое строгое: «Сейчас, пишу, приезжай ко мне». Не тут-то было: ни сам не едет, ни письма не шлет; я другое – и на это ничего; пишу в деревню к Лизе – та отвечает, что тоже ничего не знает и собирается сама к нему ехать. Я – в город, к тому, к сему, вас тогда не было; никто ничего не знает. Вдруг, говорят, Владимир Андреич приехал, а на другой день и сам явился... Я так и обмерла: ну, сами посудите, каково было встретиться после этаких происшествий. «Что такое, говорит, почтеннейшая Перепетуя Петровна, ребятишки-то наши наделали?» – «Не знаю, говорю, батюшка, вам лучше должно быть известно». – «Все, говорит, пустяки: вам бы, Перепетуя Петровна, по род-

ственному-то вашему расположению, тому и другому намылить голову, да еще и поучить, как надобно жить в супружестве; свою-то я уж поучил и привез ее теперь с собою, а со своим-то вы поуправьтесь, так дело и поправим. Мое, говорит, при отъезде было первое и последнее слово: слушайтесь и уважайте Перепетуя Петровну». – «Нет, говорю, Владимир Андреич, я прежде и не это сказала, да знаете, какую неприятность получила, так благодарю покорно!»

– Какой, можно сказать, – перебила Феоктиста Саввишна, – Владимир Андреич примерный отец: из Петербурга прискакал. Нынче родители-то выдадут дочку замуж, да и не думают – живи себе, как хотят.

– Кто говорит? – подхватила Перепетуя Петровна. – Конечно, человек умный, понимает все. Ах, боже мой! На чем я остановилась? Памяти совсем нет.

– Ну уж извините, и я не помню, – отвечала Феоктиста Саввишна, – нынче и я совсем растеряла соображение.

– Да вот, как Владимир Андреич ко мне приехал, сидим, разговариваем. Юлия Влади-

мировна тоже приехала; ну, этакая, знаете, почтительная на этот раз, нечего сказать, очень довольна: целует руки, «тетенька, говорит, поучаствуйте в нашей жизни; мы, говорит, люди молодые». И придумали мы, сударыня ты моя, за ним послать экипаж – мою бричку, будто бы от меня. Только что мы этак решили, я еще не успела хорошенько заснуть – тоска такая; вдруг в полночь будят: что такое? Говорят, Константин приехал. Так и обмерла заранее. Является, и – знаете нашу прислугу, никакой ведь не имеют осторожности – с первого слова, ни с того ни с сего: «Павел Васильич приказал долго жить, третьего дня изволили скончаться». Ох, господи боже мой! Как сидела на постеле, так и упала, и только уж на другой день в состоянии была расспросить хорошенько. Холера, говорят, в полторы сутки свернула.

– Что мудреного? Что мудреного? У меня так четыре кухарки умерли. Как найму, так и умрет – на пьяниц она как-то все больше нападала.

– Известное дело: что уж у пьяного взять, и распотеет, и холодного напьется, и съест ка-

кую-нибудь дрянь. Всего вреднее грибы: я, признаться сказать, до них большая охотница, а в холеру-таки не ела.

– А что, Перепетуя Петровна, вам, по расположению вашему, сказать мне можно: правду ли говорят, что Павел Васильич испивал?

– Было, Феоктиста Саввишна, – отвечала со вздохом Перепетуя Петровна, – и порядочно было, особенно под конец; в семейных неприятностях закатит за галстук, да и пойдет, говорят, ее писать – такая и этакая, все отпоет: мало ли что ему, может быть, известно было, чего мы и не знаем. От этого, говорят, она его и оставила.

– Послушайте, Перепетуя Петровна, – перебила Феоктиста Саввишна, – они, должно быть, давно этого ужасного порока придерживались. Помните, как вы мне говорили еще задолго до свадьбы, что он уединение любит, я тогда, конечно, говорить не хотела, а сама с собой подумала: пьет, думаю, и пьет, должно быть запоем. У меня были такие знакомые, на вид ничего, а пьют, и только так благородного общества чуждаются, да кой-что еще заводят; этого-то я смертельно боялась: ду-

маю, будет скоро и это – а убьет это Перепетуя Петровну.

– Нет, – возразила Перепетуя Петровна, – этого-то бы я уже никак не допустила, сама бы своими руками расплескала рожу, хоть купчиха какая будь.

– Где, матушка, теперь Лизавета Васильевна?

– С мужем в деревне теперь живет; вы ведь, я думаю, слышали, им наследство досталось. И какой, можно сказать, благородный человек Михайло Николаич! Как только получил имение, тотчас же все на детей перевел; конечно, Лиза настояла, но другой бы не послушался. Она-то, голубушка моя, все хилет, особенно после смерти брата.

– Как Павла-то Васильича имение теперь?

– Все жене отдал, еще при жизни сделал ей купчую. Владимир Андреич приезжает ко мне благодарить, а я, признаться сказать, прямо выпечатала ему: как бы, говорю, там ни понимали покойника, а он был добрый человек, дай бог Юлии Владимировне нажать мужа лучше его, пусть теперь за Бахтиарова пойдет, да и посмотрит.

– Да где его взять-то теперь? В Одессу уехал, провалиться бы ему с головой, проклятому! Не любила, сударыня, этого человека, точно разбойник какой! Скольким он, можно сказать, неприятностей сделал? Вот хоть бы, между нами сказать, вы ведь на меня не рассердитесь, как и Лизавету-то Васильевну он срамил!

– Не говорите лучше мне про этого мерзавца: чтобы околеть ему, проклятому!..

– Ведь этакой был, можно сказать, бесстыдный человек. После этой истории, как я слышала, начал опять ездить к Михайлу Николаичу. Хорошо, что ведь Лизавета-то Васильевна женщина с характером – просто не велела его пускать в дом, да и только; а то ведь, пожалуй, и тут что-нибудь бы было.

# Примечания

**В**первые повесть напечатана в «Москвитянин» за 1850 год (ч. V, NoNo 19, 20, октябрь; ч. VI, No 21, ноябрь).

В «Москвитянин» «Тюфяк» не датирован; в издании Стелловского окончание работы над ним помечено 29 апреля 1850 года.

Начало работы над этой повестью относится к концу 40-х годов. В автобиографии Писемский сообщает: «...в 1846 я написал большую повесть «Боярщина»... но повесть, посланная в «Отечественные записки», была прихлопнута цензурой 47-го года, а между тем я в деревне написал другой уже роман «Тюфяк». Но разбитый в своих надеждах не послал ее[21] никуда и решился снова начать службу».

Если принять во внимание, что Писемский ошибся в дате, – «Боярщина» была послана в «Отечественные записки» не в 1847, а в 1848 году, – то можно предположительно считать, что по крайней мере вчерне «Тюфяк» был написан именно в этом году.

К весне 1850 года первая часть повести, по-видимому, была уже окончательно отделана.

Косвенное подтверждение этому содержится в письмах автора «Тюфяка» к А.Н.Островскому. В письме от 7 апреля 1850 года читаем: «О собственных моих творениях я забыл, хоть они и лежат вполне оконченные»[22]. В письме нет никакого намека на то, что Островский просил у Писемского какое-нибудь из его «творений». Скорее всего именно в ответ на это письмо Островский попросил Писемского прислать какое-либо из его «творений» в Москву. Через две недели (21 апреля 1850 года), после указанного выше письма, Островскому было послано второе «Посылаю Вам, почтенный мой А.Н., произведение мое на полное Ваше распоряжение. Делайте с ним, что хотите. Я его назвал: «Семейные драмы»; но если это заглавие или, лучше сказать, чтобы то ни было в моем творении будет несообразно с требованиями цензуры, или с духом журнала, – перемените, как хотите и что хотите. Роман мой назовите: просто Бешметев, Тюфяк, или каким Вам будет угодно окрестите названием... Я посылаю только первую часть моего романа, но Вы поручитесь редакции, что я вышлю при первом Вашем требо-

вании и вторую, т. е. последнюю часть, которая уже вчерне написана, но не отделана окончательно; а оканчивать ее совершенно во мне недостает силы воли, так как я на этом поприще уже много трудился бесполезно. Но если редакция не доверит и будет требовать второй части, напишите, и я не замедлю ее выслать».[23]

Бесспорно, что просьба Островского дошла до Писемского между 7 и 21 апреля и едва ли раньше, чем за неделю до последней даты. При огромной служебной занятости Писемского он, конечно, не мог за этот небольшой срок приготовить необработанный черновик второй части повести к печати. Вторую часть Писемский обрабатывал летом 1850 года. 27 июня этого года он писал А.Н.Островскому: «Вторую часть я не успею выслать до Вашего отъезда из Москвы; но Вы заверьте редакцию, что я не замедлю выслать и вторую, – пусть она мой роман принимает, цензурует и печатает».[24]

Об идейном замысле повести Писемский высказался в том же письме от 21 апреля 1850 года. «Главная моя мысль была та, чтобы в

обыденной и весьма обыкновенной жизни обыкновенных людей раскрыть драмы, которые каждое лицо переживает по-своему. Ничего общественного я не касался и ограничивался только одними семейными отношениями... Характеры моих героев я понимал так: главное лицо Бешметев. Это личность по натуре полная и вместе с тем лишенная юношеской энергии, видимо не общительная и получившая притом весьма одностороннее, исключительно школьное образование. В первый раз он встречается с жизнью по выходе из университета и по приезде домой. Но жизнь эта его начинает не развивать, а терзать; и затем он, не имея никого и ничего руководителем, начинает делать на житейском пути страшные глупости, оканчивающиеся в первой части безумною женитьбою. Прочие характеры, как я думаю, достаточно объясняют сами себя».[25]

Писемский, работая над «Тюфяком», учел уроки цензурной расправы с первым романом. Если уже само первоначальное заглавие «Боярщины» – «Виновата ли она?» – говорило о социальной заостренности повести и, стало

быть, настораживало цензора, то второе его произведение озаглавливалось намеренно нейтрально: «Семейные драмы», «Бешметев» и, наконец, «Тюфяк». С этой же целью – не дать цензуре явных поводов для запрета – Писемский избрал и «нейтральный» сюжет.

В «Боярщине» семейный конфликт явно перерастает в конфликт общественный в него втягивается не только все губернское дворянское общество, но и губернские власти; больше того – губернатор, решивший удовлетворить просьбу Сапеги, уверен в поддержке министра. Социальная подоснова семейно-бытового конфликта в «Тюфяке» выявляется не с такой прямолинейностью. Действие повести, кажется, не выходит из узкосемейных рамок. Но в действительности те принципы углубления типичности, которые были применены в «Боярщине», применялись и при создании «Тюфяка».

Высказывания Писемского о «Тюфяке» явно распадаются на две части, причем у каждой из них, очевидно, различная целевая установка и различные адреса. То место письма, где усиленно подчеркивается обыден-

ность сюжета, где уверяет Писемский «...ничего общественного я не касался», – звучит как инструкция на случай разговора с цензором, а может быть, и издателем «Москвитянина» – М.П.Погодиным. Что касается той части письма, где истолковывается характер Бешметева, то она по своему смыслу диаметрально противоположна первой. Здесь речь идет как раз о том, что причины несчастий Бешметева – в условиях окружающей его жизни, которая не развивает человека, а терзает его.

Цель была достигнута. «Тюфяк» прошел через цензуру, по-видимому, без особых затруднений; 4 сентября Погодин получил рукопись повести[26], а в первой октябрьской книжке журнала она уже была напечатана.

Первые журнальные отзывы о «Тюфяке» были почти все положительными. Обозреватель «Отечественных записок» заявил, что «Тюфяк» – «лучшее произведение по части беллетристики в настоящем (1850 – М.Е.) году. В авторе мы видим не просто талант, но талант образованный. Его дар непосредственного представления жизни не скрывает от нас серьезного воззрения на жизнь»[27]. Высокую

оценку повести Писемского дал и А.В.Дружинин.

Но уже в первых откликах были выказаны такие замечания в адрес автора «Тюфяка», которые предвещали острую борьбу вокруг произведений Писемского, развернувшуюся в середине 50-х годов. Так, и Дружинин и критик «Отечественных записок» неодобрительно отметили сходство Масурова с героем «Мертвых душ» Ноздревым. По мнению Дружинина, Писемский «испортил» образ Бешметева тем, что дал ему «вид типа давно избитого»[28]. Дружинин уверял Писемского, что оригинальность характера обуславливается не общественным воздействием на человека, а внутренним развитием психики каждого индивидуума. В заключение своего отзыва Дружинин писал о том, будто в «Тюфяке» отсутствует занимательность. В противовес принципу «просторы вымысла», о котором Белинский говорил, как об одном из основных качеств произведений Гоголя и писателей «натуральной школы», Дружинин выдвинул принцип: «простота подробностей, замысловатость замысла», осуществление которого

якобы и обеспечивает литературному произведению непреходящий интерес.[29]

Этот же упрек в отсутствии занимательности высказал и Дудышкин в статье «Русская литература в 1850 году». Отдавая должное таланту Писемского, он в то же время обвинял его в излишней критической заостренности его образов. Важнейшим недостатком образа Бешметева Дудышкин считал то, что он, как человек образованный, «не обнаружил способности действовать».[30]

Этой тенденции приглушить обличительный пафос повести Писемского противостоит оценка «Тюфяка» «Современником». Критик «Современника» прежде всего отметил, что «Тюфяк» выгодно отличается от подавляющего большинства произведений, печатающихся в беллетристическом отделе «Москвитянина». Повесть Писемского, по мнению критика, читается «с тем удовольствием, которое редко бывает результатом чтения повестей «Москвитянина». Написана она языком бойким и живым, полна наблюдательности и отличается светлым взглядом автора на предметы. Во взгляде этом столько ума, столько неподдель-

ного, практического здравого смысла, что автору безусловно во всем веришь и желаешь только одного – чтобы он писал больше и больше».[31]

Среди критических отзывов о «Тюфяке» необходимо отметить напечатанную в «Москвитяине» статью А.Н.Островского, в которой подробно охарактеризовано художественное своеобразие повести Писемского.

После опубликования «Брака по страсти», «Комика», «Богатого жениха» и «М-г Батманова», когда обличительная направленность творчества Писемского в достаточной мере выявилась, А.Григорьев пытался опорочить эту направленность, противопоставив «Тюфяк» всем перечисленным выше произведениям. Григорьев утверждал, что «Тюфяк» в отличие от других произведений Писемского ничего общего с традициями гоголевской реалистической школы не имеет, что Писемский в образе Бешметева высмеивает чрезмерные претензии самолюбивого я[32]. Такая оценка «Тюфяка» была неприемлема для Писемского и могла только ускорить его разрыв с «молодой редакцией» «Москвитяина».

Наиболее подробный и глубокий анализ «Тюфяка» сделан Д.И.Писаревым в его статье «Стоячая вода», написанной в связи с выходом в свет первого тома сочинений Писемского в издании Стелловского (1861). Писарев убедительно показал, что правдивая картина жизни дворянского общества, нарисованная Писемским в этой повести, неизбежно приводит к мысли, что «так жить, как жило и до сих пор живет большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшего порядка вещей и когда не понимаешь своего страдания».[33]

Текст «Тюфяка» в сборнике «Повести и рассказы», изданном в 1853 году М.П.Погодиным, почти идентичен журнальному. В него внесено лишь одно заметное изменение. В отличие от журнального текста, делившегося на две части, с отдельной для каждой части нумерацией глав (часть первая – главы I-X; часть вторая – главы I—IX), в «Повестях и рассказах» деление на части отсутствует, нумерация глав единая: I—XIX.

При подготовке текста «Тюфяка» для издания Стелловского Писемский не внес в него

существенных изменений, ограничившись заменой некоторых слов и выражений. В этом издании повесть делится не на 19, а на 20 глав. Увеличение произошло за счет разделения главы IV «Павел» на две главы: IV, с сохранением старого названия, и V – «Неожиданная встреча».

В настоящем издании повесть печатается по тексту «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 год, с исправлениями опечаток по предшествующим прижизненным публикациям.

# Примечания

Депансы – издержки, расходы (франц.).

[^^^]

## 2

«Коварство и любовь» – трагедия немецкого поэта И.Ф.Шиллера (1759—1805).

[^^^]

# 3

«Что ты, ветка бедная...» – романс на слова  
И.П.Мятлева (1796—1844).

[^^^]

сестра (франц.).

[^^^]

# 5

Боже мой! Вы ли это? – Это вы, сударыня?  
(франц.).

[^^^]

# 6

милая Лиза, дорогая, Лизочка (франц.).

[^^^]

# 7

Приветствую вас, сударыня! (франц.).

[^^^]

Изделие Жукова – дешевый табак фабрики Жукова.

[^^^]

# 9

– Позвольте вас пригласить на мазурку?

[^^^]

двоюродный брат (франц.).

[^^^]

горничной (франц.).

[^^^]

# 12

черт меня побери (франц.).

[^^^]

Елисейские поля – страна, где пребывают души умерших героев и праведников (греч. миф.).

[^^^]

с глазу на глаз (франц.).

[^^^]

Прощайте, сударыня (франц.).

[^^^]

...и бурша, и кнастер, и медхен – и студенчество, и табак, и девушки (немец.).

[^^^]

Сен-Жерменское предместье – район Парижа, где проживала аристократия.

[^^^]

«Лючия» – опера итальянского композитора Г.Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламермур».

[^^^]

«Фра-Диаволо» – опера французского композитора Ф.Обера (1782—1871).

[^^^]

хорошего тона (франц.).

[^^^]

Так у Писемского ее, то есть повесть «Тюфяк». При определении жанра «Тюфяка» Писемский так же колебался, как и в отношении «Боярщины».

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936,  
стр. 26—27.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 28.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 28.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936,  
стр. 27—28.

[^^^]

Н.Барсуков. Жизнь и труды М.П.Погодина, кн. XI, стр. 89.

[^^^]

«Отечественные записки», 1850, т. 73, No 12,  
стр. 122.

[^^^]

«Современник», 1850, No 12, стр. 204.

[^^^]

Там же, стр. 207.

[^^^]

«Отечественные записки», т. 74, январь, отд.  
V, стр. 25.

[^^^]

«Современник», 1851, т. XXV, стр. 73.

[^^^]

«Москвитянин». 1853, No 1, январь,  
стр. 27—32.

[^^^]

Д.И.Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 189.

[^^^]